
Эразм Роттердамский. Похвала глупости

Перевод с латинского П.К. ГУБЕРА
Редакция перевода С.П. МАРКИША
Статья и комментарии Л.Е. ПИНСКОГО
OCR: Алексей Черных (abch@hotmail.ru)
Origin: <http://www.tsu.tmn.ru/homepages/BiznesClub/M2/Persons/erazm.htm>
Изд.: Государственное издательство художественной литературы, М., 1960

Курсивом выделены слова и выражения, в оригинале написанные по-гречески.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие автора

Глава I. (Глупость

одним своим видом разгоняет заботы слушателей)

Глава II. (Содержание речи)

Глава III. (Почему Глупость сама себя хвалит)

Глава IV. (Почему говорит без подготовки)

Глава V. (Глупость сразу же сама себя выдает)

Глава VI. (Подражание риторам)

Глава VII и VIII.

(Родословная Глупости, место ее рождения, ее кормилицы)

Глава IX. (Спутники Глупости)

Глава X, XI и XII. (Глупости люди обязаны и самой жизнью, и всеми житейскими благами)

Глава XIII. (Родство Глупости с детством и старостью)

Глава XIV. (Глупость продлевает юность и отгоняет старость)

Глава XV. (Боги особенно нуждаются в Глупости)

Глава XVI. (Приправа Глупости нужна повсюду)

Глава XVII. (Благодаря Глупости женщины правятся мужчинам)

Глава XVIII. (Глупость -- лучшая приправа на пиру)

Глава XIX. (Она же -- соединительница друзей)

Глава XX. (Примирительница супругов)

Глава XXI. (Связующее начало всякого человеческого общества)

Глава XXII. (Почему Филавтия именуется родной сестрой Глупости)

Глава XXIII. (Глупость -- причина войн)

Глава XXIV и XXV.

(Невыгоды Мудрости)

Глава XXVI. (Сила всякого вздора в народе)

Глава XXVII. (Жизнь человеческая -- только забава Глупости)

Глава XXVIII. (Науками и искусствами люди обязаны жажде суетной славы)

Глава XXIX. (Глупость требует, чтобы ее похвалили за рассудительность)

Глава XXX. (Глупость ведет к мудрости)

Глава XXXI. (Только благодаря Глупости жизнь бывает сносной)

Глава X XXII и XXXIII.

(Науки изобретены, на пагубу роду людскому, среди них особенно ценятся те, которые связаны с Глупостью)

Глава XXXIV. (Из животных всего счастливее те, которые не знают никакой дрессировки)

Глава XXXV, XXXVI и XXXVII. (Дураки, юродивые, глупцы и слабоумные гораздо счастливее мудрецов)

Глава XXXVIII. (Почему следует отдать предпочтение безумию)

Глава XXXIX. (Безумие супругов, охотников, строителей и игроков)

Глава XL и XLI. (Суеверы)

Глава XLII. (Люди, бахвалящиеся благородством своего происхождения)

Глава XLIII. (Филавтия отдельных смертных, народов и городов)

Глава XLIV. (Сестра Филавтии -- Лесть)

Глава XLV. (Счастье зависит от нашего мнения о вещах)

Глава XLVI. (Глупость на всех смертных равно изливает свои благодеяния)

Глава XLVII. (Снисходительность Глупости)

Глава XLVIII. (Различные виды и формы Глупости)

Глава XLIX. (Грамматики)

Глава L. (Поэты)

Глава LI. (Правоведы)

Глава LII. (Философы)

Глава LIII. (Богословы.)

Глава LIV. (Иноки и монахи)

Глава LV и LVI. (Короли

и вельможи)

Глава LVII. (Епископы)

Глава LVIII. (Кардиналы)

Глава LIX. (Верховные первосвященники)

Глава LX. (Германские епископы)

Глава LXI. (Фортуна благоприятствует Глупости)

Глава LXII. (Свидетельства древних)

Глава LXIII. (Свидетельства Священного писания)

Глава LXIV и LXV. (Лукавые толкователи слов Священного писания.)

Глава LXVI. (Христианская вера сродни Глупости).

Глава LXVII. (Высшей наградой для людей является своего рода безумие)

Глава LXVIII. (Эпилог)

Л.Е. Пинский. Эразм и его "Похвала Глупости".
Комментарии

Эразм Роттердамский своему милому Томасу Мору¹ -- привет.

В недавние дни, возвращаясь из Италии в Англию и не желая, чтобы время, проводимое на лошади, расточалось в пустых разговорах, чуждых музам и литературе, я либо размышлял о совместных ученых занятиях, либо наслаждался мысленно, вспоминая о покинутых друзьях, столь же ученых, сколь любезных моему сердцу. Между ними и ты, милый Мор, являлся мне в числе первых: вдали от тебя я не менее наслаждался воспоминаниями, нежели, бывало, вблизи -- общением с тобою, которое, клянусь, слаще всего, что мне случалось отвесть в жизни. И вот я решил заняться каким-нибудь делом, а поскольку обстоятельства не благоприятствовали предметам важным, то и задумал я сложить похвальное слово Глупости. "Что за Паллада внушила тебе эту мысль?" -- спросишь ты. Прежде всего, навело меня на эту мысль родовое имя Мора, столь же близкое к слову мория², сколь сам ты далек от ее существа, ибо, по общему приговору, ты от нее всех дальше. Затем мне казалось, что эта игра ума моего тебе особенно должна прийтись по вкусу, потому что ты всегда любил шутки такого рода, иначе говоря -- ученые и не лишенные соли (ежели только не заблуждаюсь я в оценке собственного моего творения), и вообще не прочь был поглядеть на человеческую жизнь глазами Демокрита³. Хотя по исключительной прозорливости ума ты чрезвычайно далек от вкусов и воззрений грубой толпы, зато благодаря необыкновенной легкости и кротости нрава можешь и любишь, снисходя до общего уровня, играть роль самого обыкновенного человека. А значит, ты не только благосклонно примешь эту мою ораторскую безделку, эту памятку о твоём товарище, но и возьмешь ее под свою Защиту; отныне, тебе посвященная, она уже не моя, а твоя.

Найдутся, быть может, хулители, которые станут распространять клевету, будто легкие эти шутки не к лицу теологу и слишком язвительны для христианского смирения; быть может, даже обвинят меня в том, что я воскрешаю древнюю комедию или, по примеру Лукиана⁴, подвергаю осмеянию всех и каждого. Но пусть те, кого возмущают легкость предмета и шутливость изложения, вспомнят, что я лишь последовал примеру многих великих писателей. Сколько веков тому назад Гомер воспел *Батра-хомиомахию*⁵, Марон -- комара и чесночную закуску⁶, Овидий⁷ -- орех! Поликрат написал похвальное слово Бусириду, которое затем исправил Исократ⁸, Главк восхвалял неправосудие⁹, Фаворин -- Терсита¹⁰ и перемежающуюся лихорадку, Синесий¹¹ -- лысину. Лукиан -- муху и блоху¹², Сенека сочинил шуточный *апофеоз* Клавдия¹³, Плутарх--разговор Грилла с Улиссом¹⁴, Лукиан и Апулей -- похождения осла¹⁵ и уже не помню кто -- завещание поросенка¹⁶ по имени Грунный Корокотта, о чем упоминает св. Иероним¹⁷.

Если же всего этого мало, то пусть вообразят строгие мои судьи, что мне пришла охота поиграть в бирюльки или поездить верхом на длинной хворостине. В самом деле, разрешая игры людям всякого звания, справедливо ли отказывать в них ученому, тем более если он так трактует забавные предметы, что читатель, не вовсе бестолковый, извлечет отсюда более пользы, чем из иного педантского и напыщенного рассуждения? Вот один в терпеливо составленной из разных кусков речи прославляет риторику и философию, вот другой слагает хвалы какому-нибудь государю, вот третий призывает к войне с турками. Иной предсказывает будущее, иной поднимает новые вопросы -- один другого пустячнее и ничтожнее. Но ежели ничего нет нелепее, чем трактовать важные

предметы на вздорный лад, то ничего нет забавнее, чем трактовать чушь таким манером, чтобы она отнюдь не казалась чушью. Конечно, пусть судят меня другие: однако коль скоро не вконец обольстила меня *Филавтил*¹⁸, то сдается мне, что я восхвалил Глупость не совсем глупо. Что же касается пустого упрека в излишней резкости, то отвечу, что всегда дозволено было безнаказанно насмеяться над повседневной человеческой жизнью, лишь бы эта вольность не переходила в неистовство. Весьма дивлюсь я нежности современных ушей, которые, кажется, ничего не выносят, кроме торжественных титулов. Немало также увидишь в наш век таких богомолв, которые скорее стерпят тягчайшую хулу на Христа, нежели самую безобидную шутку насчет папы или государя, в особенности *когда дело затрагивает интересы кармана*. Но если кто судит жизнь человеческую, не называя имен, то почему, спрошу я, видеть здесь непременно язвительное издевательство, а не наставление, не увещание? А в противном случае сколь часто пришлось бы мне обращаться с укорами и порицаниями к самому себе! И, наконец, кто не щадит ни одного звания в роде людском, тот ясно показывает, что не против отдельных лиц, а только против пороков он ополчился. Итак, если кто теперь станет кричать, жалуясь на личную обиду, то лишь выдаст тем свой страх и нечистую совесть. Куда вольней и язвительней писал св. Иероним, не щадивший и имен порою! Я же не только избегал повсеместно имен собственных, но сверх того старался умерить всячески слог, дабы разумному читателю сразу же было понятно, что я стремлюсь скорее к смеху, нежели к злomu глумлению. Я не хотел по примеру Ювенала¹⁹ ворошить сточную яму тайных пороков и охотнее выставлял напоказ смешное, нежели гнусное.

Того, кто не удовлетворится всем сказанным, прошу вспомнить для утешения, что весьма почтенно служить жертвою нападок Глупости, от лица которой я взял слово. Впрочем, стоит ли говорить все это такому искусному адвокату, как ты²⁰; и без того ты сумеешь отстоять наилучшим образом даже и не столь правое дело. Прощай же, мой красноречивейший Мор, и Морию твою защищай всеусердно.

Писано в деревне, 10 июня 1508²¹ г.

Глупость говорит:

ГЛАВА I

Пусть грубые смертные толкуют обо мне, как им угодно, -- мне ведомо, на каком худом счету Глупость даже у глупейших, -- все же я дерзаю утверждать, что мое божественное присутствие, и только оно одно, веселит богов и людей. Наилучшее тому доказательство -- перед вами: едва взошла я на кафедру в этом многолюдном собрании, как все лица просияли небывалым, необычайным весельем, все подались вперед и повсеместно раздался радостный, ликующий смех. При взгляде на вас кажется мне, будто я вижу богов Гомеровых, охмелевших от нектара, настоящего на непенте¹, а ведь только что вы сидели печальные и озабоченные, словно воротились недавно из Трофониевой пещеры². Подобно тому как утреннее солнце, показывающее земле свой прекрасный золотой лик, или как ранняя весна, веющая приятными зефирами после суровой зимы, всему сообщают новый цвет и вид и новую юность, так и у вас при взгляде на меня совсем иными сделались лица. В то время как даже великие риторы лишь при помощи длинной, старательно обдуманной речи понуждают вас стряхнуть с души тяжелые заботы, я достигла этого сразу, единым моим появлением.

ГЛАВА II

Чего ради выступаю я сегодня в несвойственном мне обличий, об этом вы узнаете, ежели будете слушать внимательно, -- не так, как слушают церковных проповедников, но как внимают рыночным скоморохам, шутам и фиглярам или так, как наш друг Мидас слушал некогда Пана¹. Ибо захотелось мне появиться перед вами в роли софиста, но только -- не одного из тех, которые ныне вколачивают в головы мальчишкам вредную чушь и научают их препираться с упорством, более чем бабьим. Нет, я хочу подражать тем древним грекам, которые, избегая позорной клички мудрецов, предпочли назваться софистами². Их тщанием слагались хвалы богам и великим людям. И вы тоже услышите сегодня похвальное слово, но не Гераклу и не Солону³, а мне самой, иначе говоря -- Глупости.

ГЛАВА III

Воистину не забочусь я нисколько о тех любомудрах, которые провозглашают дерзновеннейшим глупцом всякого, кто произносит хвалы самому себе. Ладно, пусть это будет глупо, если уж им так хочется, -- лишь бы зазорно не было. Кому, однако, как не Глупости, больше подобает явиться трубачом собственной славы и *самой себе подыгрывать на флейте*? Кто может лучше изобразить меня, нежели я сама? Разве что тот, кому я известна ближе, нежели себе самой! Сверх того, действуя таким образом, я почитаю себя скромнее большинства великих и мудрых мира сего. Удерживаемые ложным стыдом, они не решаются выступить сами, но вместо того нанимают какого-нибудь продажного риторика или поэта-пустозвона, из чьих уст выслушивают похвалу, иначе говоря -- ложь несусветную. Наш смиренник распускает хвост, словно павлин, задирает хохол, а тем временем бесстыжий льстец приравнивает этого ничтожного человека к богам, выставляет его образцом всех доблестей, до которых тому, как до звезды небесной, далеко, наряжает ворону в павлиньи перья, *старается выбелить эфиопа и из мухи делает слона*. Наконец, я применяю на деле народную поговорку, гласящую:

"Сам выхваляйся, коли люди не хвалят". Не знаю, чему удивиться -- лениности или неблагодарности смертных: хотя все они меня усердно чтут и охотно пользуются моими благодеяниями, никто, однако, в продолжение стольких веков не удосужился воздать в благодарственной речи похвалу Глупости, тогда как не было недостатка в охотниках сочинять, не жалея лампового масла и жертвуя сном, напыщенные славословия Бусиридам, Фаларидам¹, перемежающимся лихорадкам, мухам, лысынам и тому подобным напастям. От меня же вы услышите речь, не подготовленную заранее и не обработанную, но зато тем более правдивую.

ГЛАВА IV

Не хотелось бы мне, чтобы вы заподозрили меня в желании блеснуть остроумием по примеру большинства ораторов. Ведь те, -- дело известное, -- когда читают речь, над которой бились лет тридцать, а иногда так и вовсе чужую, то дают понять, будто сочинили ее между делом, шутки ради, в три дня, или просто продиктовали невзначай. Мне же всегда особенно приятно было говорить то, *что в голову взбредет*. И да не ждет никто, чтобы я по примеру тех же заурядных риториков стала предлагать вам Здесь точные определения, а тем более разделения. Ибо как ограничить определениями ту, чья божественная сила простирается так широко, или разделить ту, в служении которой объединился весь мир? Да и вообще, к чему выставлять напоказ тень мою или образ, когда вот я сама стою здесь перед вами? Видите? Вот я, Глупость, щедрая подательница *всяческих благ*, которую латиняне зовут

Стультицией¹, а греки Морией.

ГЛАВА V

Да и вообще -- нужны ли здесь слова? Разве само чело мое и лик, как говорится, не достаточно свидетельствуют о том, кто я такая? Если бы кто даже и решился выдать меня за Минерву или за Софию, мое лицо -- правдивое зеркало души -- опровергло бы его без долгих речей. Нет во мне никакого притворства, и я не стараюсь изобразить на лбу своем то, чего нет у меня в сердце. Всегда и всюду я неизменна, так что не могут скрыть меня даже те, кто изо всех сил старается присвоить себе личину и титул мудрости, -- эти обезьяны, рядящиеся в пурпур, и ослы, щеголяющие в львиной шкуре. Пусть притворствуют как угодно: торчащие ушки все равно выдадут Мидаса. Неблагодарна, клянусь Гераклом, и та порода людей, которая всего теснее связана со мною, а между тем при народе так стыдится моего имени, что даже попрекает им своих ближних, словно бранною кличкой. *Эти глупейшие из глупцов* хотят прослыть мудрецами и Фалесами¹, но можно ли назвать их иначе, как *глупомудралами*?

ГЛАВА VI

Как видите, мне действительно захотелось подражать риторам нашего времени, которые считают себя уподобившимися богам, если им удастся прослыть двуязычными¹, наподобие пиявок, и которые полагают верхом изящества пересыпать латинские речи греческими словечками, словно бубенцами, хотя бы это и было совсем некстати. Если же не хватает им заморской тарабарщины, они извлекают из полуистлевших грамот несколько устарелых речений, чтобы пустить пыль в глаза читателю. Кто понимает, тот тешится самодовольством, а кто не понимает, тот тем более дивится, чем менее понимает. Ибо нашей братии весьма приятно бывает восхищаться всем иноземным. А ежели среди невежественных слушателей и читателей попадутся люди самолюбивые, они смеются, рукоплещут и, на ослиный лад, *помахивают ушами*, дабы другие не сочли их несведущими. *Да, именно так.*

Теперь возвращаюсь к главному предмету моей речи.

ГЛАВА VII

Итак, мужи... каким бы эпитетом вас почтить? Ах да, конечно: мужи глупейшие! Ибо какое более почетное прозвище может даровать богиня Глупость сопричастникам ее таинств? Но поскольку далеко не всем известно, из какого рода я происхожу, то и попытаюсь изложить это здесь, с помощью Муз. Родителем моим был не Хаос, не Орк, не Сатурн, не Иапет¹ и никто другой из этих обветшалых, полуистлевших богов, но *Плутос*², который, не во гнев будь сказано Гомеру, Гесиоду³ и даже самому Юпитеру, есть единственный и подлинный *отец богов и людей*⁴. По его мановению в древности, как и ныне, свершалось и свершается все -- и священное и мирское. От его приговоров зависят войны, мир, государственная власть, советы, суды, народные собрания, браки, союзы, законы, искусства, игрища, ученые труды...-- вот уж и дыхания не хватает, -- коротко говоря, все общественные и частные дела смертных. Без его содействия всего этого племени поэтических божеств -- скажу больше: даже верховных богов⁵ -- вовсе не было бы на свете или они прозябали бы *самым*

жалким образом. На кого он прогневаётся, того не выручит и сама Паллада. Напротив, кому он благоволит, тому и дела нет до Юпитера с его громами. *Вот каков мой отец*. И породил он меня не из головы своей, как некогда Юпитер эту хмурую, чопорную Палладу, но от Неотеты⁶, самой прелестной и веселой из нимф. И не в узах унылого брака, как тот хромой кузнец⁷, родилась я, но -- что не в пример сладостнее -- *от вожделения свободной любви*, пользуясь словами нашего милого Гомера. И сам отец мой, должно вам знать, был в ту пору не дряхлым полуслепым Плутосом Аристофана⁸, но ловким и бодрым, хмельным от юности, а еще больше -- от нектара, которого хлебнул он изрядно на пиру у богов.

ГЛАВА VIII

Если вы спросите о месте моего рождения, -- ибо в наши дни благородство зависит прежде всего от того, где издал ты свой первый младенческий крик, -- то я отвечу, что не на блуждающем Делосе, и не среди волнующегося моря¹, и не *под сенью пещеры*² родилась я, но на тех Счастливых островах, где *не сеют, не пашут*, а в житницы собирают. Там нет ни труда, ни старости, ни болезней, там на полях не увидишь асфоделей, мальв, морского луку, волчцов, бобов и тому подобной дряни, но повсеместно глаза и обоняние твои ласкают молий, панацея³, непента, майоран, бессмертники, лотосы, розы, фиалки и гиацинты, достойные садов Адонисовых⁴. Рожденная среди этих усад, не с плачем вступила я в жизнь, но ласково улыбнулась матери. Право, не завидую я *вышнему Крониду*, вскормленному козой⁵, -- ведь меня питали своими сосцами две прелестные нимфы -- Метэ⁶, рожденная Вакхом, и Апедия⁷, дочь Пана.

Обеих вы видите в толпе моих спутниц и наперсниц. А если вам угодно знать имена всех прочих, то -- клянусь Гераклом! -- я назову их не иначе, как по-гречески.

ГЛАВА IX

Вот эта, с горделиво поднятыми бровями, -- *Филаетия*. Та, что улыбается одними глазами и плещет в ладоши, носит имя *Колакии*¹. А эта, полусонная, словно дремлющая, зовется *Летой*². Эта, что сидит со сложенными руками, опершись на локти, -- *Мисопония*³. Эта, увитая розами и опрысканная благовониями, -- *Гедонэ*⁴. Эта, с беспокойно блуждающим взором, называется *Анойя*⁵. Эта, с лоснящейся кожей и раскормленным телом, носит имя *Трифэ*⁶. Взгляните еще на этих двух богов, Замешавшихся в девичий хоровод: одного из них зовут *Комос*⁷, а другого -- *Негретос Гипнос*⁸. С помощью этих верных слуг я подчиняю своей власти весь род людской, отдаю повеления самим императорам.

ГЛАВА X

Теперь вы знаете, каков мой род, каково воспитание и какова свита. Дабы не подумал никто, будто я без должного права присвоила себе звание богини,

внимайте, наострив уши, какими благами одаряю я богов и людей и как широко простирается моя божественная сила.

Если не зря написал некто, что быть богом -- значит помогать смертным, и ежели по заслугам допущены в верховное собрание богов те, кто ввел в употребление хлеб, вино и прочие полезные вещи, то почему бы и мне не именоваться *альфой* в алфавите богов, поскольку я щедрее всех?

ГЛАВА XI

Прежде всего -- что может быть слаще и драгоценней самой жизни? Но кому обязаны вы возникновением ее, если не мне? Ведь не копье Паллады, *дщери могучего отца*, и не эгида *тучегонителя* Зевса¹ производят и умножают род людской. Воистину, сам отец богов и владыка людей, сотрясающий Олимп единым своим мановением, откладывает порою в сторонку трезубые свои молнии и обличье титана, столь страшное небожителям. Волей-неволей напяливает он, подобно актеру, чужую личину, когда овладевает им столь привычное для него желание *делать детей*. Стоики полагают, что они всего ближе к богам. Но дайте мне тройного, четверного, дайте, если угодно, тысячекратного стоика, -- я докажу, что и ему придется в подобном случае отложить в сторону если не бороду, знамя мудрости, общее, впрочем, с козлами, то свою хмурую важность и свои твердокаменные догматы², придется расправить морщины на лбу и покориться сладостному безумию. Утверждаю, что ко мне, лишь ко мне одной, должен будет взывать этот мудрец, ежели только возжелает стать отцом. Впрочем, почему бы мне, по обычаю моему, не изъясниться еще откровеннее? Скажите, пожалуйста, разве голова, лицо, грудь, рука, ухо или какая другая часть тела из тех, что слывят добропорядочными, производит на свет богов и людей? Нет, умножает род человеческий совсем иная часть, до того глупая, до того смешная, что и поименовать-то ее нельзя, не вызвав общего хохота. Таков, однако, источник, более священный, нежели числа Пифагоровы³, и из него все живущее получает свое начало. Скажите по совести, какой муж согласился бы надеть на себя узду брака, если бы, по обычаю мудрецов, предварительно взвесил все невыгоды супружеской жизни? Какая женщина допустила бы к себе мужа, если бы подумала и поразмыслила об опасностях и муках родов и о трудностях воспитания детей? Но если жизнью мы обязаны супружеству, а супружеством -- моей служанке *Анойе*, то сами вы понимаете, в какой мере являетесь моими должниками. Далее, какая женщина, единожды попробовавшая рожать, согласилась бы повторить этот опыт, если б не божественная сила спутницы моей *Леты*? Не во гнев будь сказано Лукрецию, сама Венера не посмеет отрицать, что без моей чудесной помощи все ее могущество не имело бы ни силы, ни действия⁴. Итак, только благодаря моей хмельной и веселой игре рождаются на свет и угрюмые философы, чье место в наши дни унаследовали так называемые монахи, и порфиноносные государи, и благочестивые иереи, и трижды пречистые первосвященники, а за ними и весь этот рой поэтических богов, до того многочисленный, что самый Олимп, сколь он ни обширен, едва может вместить такую толпу.

ГЛАВА XII

Но мало того что во мне вы обрели рассадник и источник всяческой жизни: все, что есть в жизни приятного, -- тоже мой дар, и я берусь вам это доказать. Чем была бы земная наша жизнь, и вообще стоило ли бы называть ее жизнью, если б лишена была наслаждений? Вы рукоплещете? Я так и знала, что никто из вас не настолько мудр или, лучше сказать, не настолько глуп, нет -- именно не настолько мудр, чтобы не согласиться с моим мнением. Сами стоики отнюдь не отворачиваются от наслаждений. Лицемеры и клеймя наслаждение перед грубой толпой, они просто хотят отпугнуть других, чтобы самим вольготнее было наслаждаться. Но пусть ответят они мне ради Зевса: что останется в жизни, кроме печали, скуки, томления, несносных докуч и тягот, если не примешать к ней малую толику наслаждения, иначе говоря, если не сдобрить ее глупостью? Ссылаюсь на свидетельство прославленного Софокла, который воздал мне следующую красноречивую хвалу:

Блаженна жизнь, пока живешь без дум¹.

Попытаемся, однако, рассмотреть этот предмет более обстоятельно.

ГЛАВА XIII

Прежде всего, кому не известно, что первые годы -- самый приятный и веселый возраст в жизни человека? Детей любят, целуют, ласкают, даже враг-чужеземец готов прийти к ним на помощь. Чем объяснить это, если не тем, что мудрая природа окутала младенцев привлекательным покровом глупости, который, чаруя родителей и воспитателей, вознаграждает их за труды, а малюткам доставляет любовь и опеку, для них необходимые.

За детством следует юность. Кому она не мила, кто к ней не благоволит, кто не стремится помочь ей, кто не протягивает ей дружелюбную руку? Но в чем, спрошу я, источник очарования юности, если не во мне? Чем меньше умничает мальчик по моей милости, тем приятнее он всем и каждому. Разве я лгу, утверждая, что люди, по мере того как они становятся старше и начинают умнеть благодаря собственному опыту и воспитанию, понемногу теряют свою привлекательность, проворство, красоту и силу? Чем более удаляется от меня человек, тем меньше остается ему жить, пока не наступит наконец *тягостная старость*, ненавистная не только другим, но и самой себе. Никто из смертных не вынес бы старости, если б я не сжалилась над несчастными и не поспешила бы на помощь. Подобно тому как у поэтов боги, видя, что человек готов расстаться с жизнью, стараются облегчить его участь посредством какой-нибудь метаморфозы', так и я, по мере возможности, возвращаю к детству тех, кто стоит уже на краю могилы. Недаром про дряхлеющих старцев говорят в народе, будто они впали во *второе детство*. Если кто спросит, каким способом произвожу я подобное превращение, то это не тайна. Я веду старцев к истоку Леты, берущей свое начало на Счастливых островах (лишь узким ручейком струится она затем вдоль Подземного царства), и там, испив влаги забвения, они понемногу смывают с души своей все заботы и набираются новых сил. О них говорят, будто выжили они из ума и несут вздор... Тем лучше! Это и означает, что они снова стали детьми. Быть ребенком и нести вздор -- разве это не одно и то же? Разве не больше других веселится в этом возрасте тот, кто поглупее? Кому не мерзок и не кажется чудовищем мальчик с умом взрослого человека? Пословица недаром гласит:

Ненавижу я мальчишек, зрелых преждевременно.

И кто согласится водить знакомство со стариком, который, наряду с приобретенной за долгие годы опытностью, сохранил полностью силу духа и остроту ума? Лучше уж ему, право, стать дураком по моей милости. Это избавит его от тяжких забот, которые терзают мудреца. Благодаря мне он еще считается недурным собутыльником. Он не испытывает пресыщения жизнью, столь мучительного в более молодом возрасте. Когда он, по примеру старичка, выведенного Плавтом, пожелает вспомнить коротенькое словечко: ЛЮБЛЮ, он будет несчастнейшим из людей, ежели сохранил свой ум². А между тем по моей милости он счастлив, приятен друзьям и может порою принять участие в веселой беседе. Из уст его, как у Гомерова Нестора, струится речь слаще меда, в то время как Ахилл изливает свою злобу в желчных словах³. У того же Гомера старики беседуют, сидя на городской стене, и голоса их поэт сравнивает с *шелестом, лилий*⁴. В этом отношении старость стоит даже выше младенчества, без сомнения сладостного, но бессловесного, лишённого приятнейшей из житейских утех -- мирной болтовни. Прибавьте к этому, что старики очень любят детей, а дети легко привязываются к старикам.

***Сходные вещи сблизать привыкли великие боги*⁵.**

Да и в самом деле, какая разница между стариком и ребенком, если не считать того, что первый изборожден морщинами и насчитывает больше дней от рождения? Те же белые волосы, беззубый рот, малый рост, пристрастие к молоку, косноязычие, болтливость, бестолковость, забывчивость, опрометчивость. Коротко говоря, они во всем подобны друг другу. Чем более стареют люди, тем ближе они к детям, и, наконец, словно настоящие младенцы, не испытывая отвращения к жизни, не сознавая смерти, уходят они из мира.

ГЛАВА XIV

Теперь пусть всякий, кто захочет, сравнит мои благодеяния с метаморфозами, совершавшимися по манию других богов. Не стоит вспоминать здесь, что творят они в порыве гнева, -- ведь даже тех, к кому они особенно благосклонны, эти боги превращают в дерево, в птицу, в цикаду и даже в змею. Как будто лишиться образа своего не значит погибнуть! Я же, оставив человека самим собою, лишь возвращаю его к лучшей и счастливейшей поре жизни. Если бы смертные удалялись от всякого общения с мудростью и проводили всю жизнь свою в моем обществе, не было бы на свете ни одного старца, но все наслаждались бы вечной юностью. Взгляните на этих тощих угрюмцев, которые предаются либо изучению философии, либо иным трудным и скучным занятиям. Не успев стать юношами, они уже состарились. Заботы и непрерывные упорные размышления опустошили их души, иссушили жизненные соки. А мои дурачки, напротив того, -- гладенькие, беленькие, с холеной шкуркой, настоящие *акарнанские свинки*¹, никогда не испытают они тягот старости, ежели только не заразятся ею, общаясь с умниками. Не дано человеку быть всегда и во всем счастливым. Недаром, однако, учит нас народная пословица, что одна только глупость способна удержать быстро бегущую юность и отдалить постылую старость. Правильно также говорят о брабантцах, что они чем старше, тем глупее, в отличие от прочих людей, которые умнеют с годами. А между тем нет

народа, с которым приятнее было бы иметь дело и который менее чувствовал бы печальное бремя старости.

По месту жительства и по обычаям всего ближе к брабантцам мои голландцы. Почему бы, в самом деле, и не назвать их моими? Ведь они столь ревностные мои последователи, что заслужили достойное их крылатое прозвище², которого они не только не стыдятся, но коим даже хвастаются с великой охотой!

Пусть же теперь одуроченные смертные отправляются к Медеям, Цирцеям³, Венерам, Аврорам и отыскивают неведомый источник, который возвратит им утраченную юность -- я, только я одна могу сделать это и всегда делаю. У меня хранится тот чудодейственный сок, посредством которого дочь Мемнона возвратила молодость своему деду Тифону⁴. Я -- та Венера, по чьей милости Фаон так помолодел, что в него влюбилась Сафо⁵. Мне принадлежат колдовские травы (если они вообще существуют), мне ведомы волшебные заклинания, под моей властью пребывает тот источник, который не только возвращает вам потерянную юность, но -- что еще лучше -- делает ее вечной. И если все вы согласны, что ничего нет на свете лучше молодости и ненавистнее старости, то, разумеется, вам должно быть ясно, сколь много вы обязаны мне, сохраняющей такое великое благо и преграждающей путь такому великому злу.

ГЛАВА XV

Но что говорить о смертных? Обыщите все небо, и пусть имя мое будет покрыто позором, если вы найдете хоть одного порядочного и приятного бога, который обходился бы без моего содействия? Почему, например, Вакх¹ вечно юн и кудряв? Да потому, что он кутила и пьяница, проводит жизнь свою в пирах, плясках, пении и играх и никогда не связывается с Палладой. До того чужды ему всякие помыслы о славе мудреца, что он радуется, когда ему служат со смехом и шутками. Ему не в обиду пословица, которая нарекла его болваном или, точнее говоря, *огородным чучелом*. А чучелом его прозвали за то, что, когда он сидит у ворот своего храма, земледельцы для потехи обмазывают ему лицо спелыми смоквами и виноградным соком. Каких только шуток не отпускает на его счет древняя комедия! Вот, говорят, дурацкий бог -- недаром из бедра на свет вышел. И, однако, кто не предпочел бы участь этого болвана и дурня, вечно веселого, вечно юного, всюду влекущего

За собою забавы и игры, жребию грозного для всех *тайнодумца* Юпитера, или Пана, наводящего ужас своими воплями², или осыпанного золою, грязного от кузнечной работы Вулкана, или даже Паллады с ее страшной Гор-гоной³, с ее копьем и *неизменно свирепым взором*? Почему Купидон -- вечно дитя? Почему? Не потому ли, что он, неисправимый повеса, *ни о чем серьезно* и не помышляет? Почему златоликая Венера вечно цветет красотою? Потому только, что она мне сродни и золотистым цветом лица недаром напоминает моего родителя; по этой причине Гомер и прозвал ее *Золотой Афродитой*. К тому же она всегда смеется, если верить поэтам и их соперникам -- ваятелям. Какое божество чтили римляне усерднее, нежели Флору⁴, мать всех наслаждений?

Впрочем, если проследить у Гомера и других поэтов жизнь даже самых хмурых и степенных богов, то и здесь окажется, что все исполнено глупости. Не говоря уже о прочих богах, вам ведь известны проделки и любовные шашни самого громовержца Юпитера. А эта суровая Диана, которая забыла свой пол в трудах охоты, а между тем сходила с ума по Эндимионе!⁵ Пусть лучше боги, однако, послушают о своих проказах от Мома⁶, как нередко доводилось им встарь. Но они недавно разгневались и сбросили его на Землю вместе с Атой⁷ за то, что он своим благоразумием нарушал их

блаженство. А теперь никто из смертных не оказывает гостеприимства изгнаннику, в особенности нет ему приюта во дворцах государей, где в чести моя милая

Колакия, у которой с Момом столько же согласия, сколько у волков с ягненком. После изгнания Мома тем свободнее и веселее дурачатся боги, не страшась сурового цензора, -- поистине с *легким сердцем*, как говорит Гомер. Каких только шуток не откалывает Этот деревянный затейник Приэп⁸? На какие выдумки не пускается вороватый Меркурий? Даже сам хромоногий Вулкан *валяет дурака* на пирах у богов и своей неуклюжей поступью, остротами да прибаутками потешает сотрапезников. А там и старец Силен, любитель *кордака*⁹, пускается в пляс; рядом с ним Полифем¹⁰ танцует *третанеллу*, а нимфы -- *босоножку*, козлоногие же сатиры представляют Ателланские фарсы¹¹. Пан какой-нибудь безвкусовой и грубой песенкой вызывает всеобщий смех. Боги слушают его охотнее, нежели Муз, особенно когда упьются нектаром. Не знаю, стоит ли вообще вспоминать здесь о том, как ведут себя после пира пьяные боги? До того глупо, что, клянусь Гераклом, я сама подчас помираю со смеху. Однако не лучше ли последовать примеру молчальника Гарпократа¹², дабы не подслушал какой-нибудь бог-соглядатай, как ведем мы здесь речи, которые и Мому не прошли бы даром.

ГЛАВА XVI

Но уже настало для нас время по примеру Гомерову, покинув небожителей, снова спуститься на землю; а на земле мы не найдем ни веселья, ни счастья, которые не были бы моими дарами. Посмотрите, во-первых, с карой прозорливостью чадолюбивая и благосклонная к человеку природа хлопочет о том, чтобы нигде не было недостатка в приправе Глупости. Согласно определению стоиков, быть мудрым -- это не что иное, как следовать велениям разума, а глупым -- внушению чувств, и дабы существование людей не было вконец унылым и печальным, Юпитер в гораздо большей мере одарил их чувством, нежели разумом: можно сказать, что первое относится ко второму, как унция к грану¹. Сверх того, он Заточил разум в тесном закутке черепа, а все остальное тело обрек волнению страстей. Далее, он подчинил его двум жесточайшим тиранам: во-первых, гневу, засевшему, словно в крепости, в груди человека, в самом сердце, источнике нашей жизни, и, во-вторых, похоти, которая самовластно правит нижней половиной, до признака зрелости. Насколько силен разум против этих двух врагов, достаточно обнаруживает повседневная жизнь: пусть его вопит до хрипоты, провозглашая правила чести и добродетели, -- бунтовщики накидывают своему царю петлю на шею и поднимают такой ужасный шум, что он, в изнеможении, сдается и на все изъясняет свое согласие.

ГЛАВА XVII

Мужчины рождены для дел правления, а потому должны были получить несколько лишних капелек разума, необходимых для поддержания мужского достоинства; по этому случаю мужчина обратился ко мне за наставлением -- как, впрочем, он поступает всегда, -- и я тотчас же подала ему достойный совет: сочетаться браком с женщиной, скотинкой непонятливой и глупой, но зато забавной и милой, дабы она своей бестолковостью приправила и подсластила тоскливую важность мужского ума. Недаром Платон колебался, к какому разряду живых существ подобает отнести женщину, -- разумных или неразумных, сомнением своим желая указать, что глупость есть неотъемлемое

свойство ее пола¹. Если женщина даже захочет прослыть умной -- как она ни бейся, окажется вдвойне душой, словно бык, которого, рассудку вопреки, ведут на ристалище, -- ибо всякий врожденный порок лишь усугубляется от попыток скрыть его под личиною добродетели. Правильно говорит греческая поговорка: обезьяна всегда остается обезьяной, если даже облечется в пурпур; так и женщина вечно будет женщиной, иначе говоря -- душой, какую бы маску она на себя ни нацепила. И все же я не считаю женщин настолько глупыми, чтобы обидеться на мои слова, ибо я сама женщина и имя мое -- Глупость. Ежели поразмыслить как следует, то ведь женщины обязаны мне тем, что они несравненно счастливее мужчин. Начнем с внешней красоты, которую они справедливо ставят превыше всего на свете и с помощью которой самих тиранов подчиняют своей тирании. А с другой стороны, откуда взялась отталкивающая и дикая внешность мужчин, их волосатая кожа, их дремучая борода, весь этот облик преждевременного обветшания, откуда все это, если не от порока мудрости?! Между тем, пухлые щеки, тонкий голос и нежная кожа женщин вечно подражают юности. Далее, к чему стремятся женщины в этой жизни, как не к тому, чтобы возможно больше нравиться мужчинам? Не этой ли цели служат все их наряды, притирания, омовенья, дорогие безделушки, мази, благовония, раскрашенные лица, подведенные глаза, искусно увеличенные округлости? Чем привлекают они к себе мужчин, как не глупостью? Чего не позволяют им мужчины во имя сладострастия?! В глупости женщины -- высшее блаженство мужчины. Этому, конечно, не станет прекословить тот, кто вспомнит, какую чушь привыкли нести мужчины в любовных беседах и каких только дурачеств они не совершают, лишь бы заставить женщину уступить их вожделению. Теперь вы видите, из какого источника истекает любовь -- первое и величайшее наслаждение в жизни.

ГЛАВА XVIII

Впрочем, многие мужчины, -- и прежде всего старики, более пьяницы, чем женолюбы, -- высшее блаженство полагают в попойках. Можно ли представить себе веселый пир, на котором отсутствуют женщины, об этом пусть судят другие, но совершенно несомненно, что без приправы Глупости нам ничто не мило. Это до такой степени справедливо, что во всех случаях, когда подлинная или притворная Глупость не потешает гостей, нарочно приглашают наемного *шута* или смешного блюдолиза, который забавными, или, говоря попросту, глупыми речами гонит прочь с попойки молчание и скуку. В самом деле, стоит ли обременять чрево всякой снедью, лакомствами и сладостями, если при этом глаза, уши и дух наш не услаждаются смехом, играми и шутками? А для десертов Этого рода я -- незаменимая повариха. Кто установил все Застольные обряды -- избрание короля пира по жребию, здравицы, *питье вкруговую*, пение с миртовой ветвью в руках, пляски, пантомиму, -- не семь ли греческих мудрецов?¹ Нет, не ими, а мною заведено все это для блага человеческого рода. Свойство этих обычаев таково, что чем больше в них глупости, тем полезнее они смертным, ибо если жизнь печальна, она не заслуживает даже названия жизни. А жизнь непременно будет Печальной, ежели не изгонять рожденную с нею вместе тоску подобного рода забавами.

ГЛАВА XIX

Но, быть может, найдутся среди вас люди, которые пренебрегают такими удобствами и находят радость лишь в общении с друзьями, полагая дружбу наилучшей среди всех вещей и до того необходимой, что ни воздух, ни огонь, ни вода не могут с нею сравниться. По их мнению, лишиться дружбы все равно что лишиться солнца. Дружба, наконец, столь глубоко достойна уважения, что сами философы, если только позволительна на них здесь ссылатся, называют ее в числе величайших благ. А ну как я докажу, что именно я являюсь и кормою и носом корабля, доставляющего вам это великое благо? И докажу Это не крокодилитами, не соритами, не рогатыми силлогизмами¹ и не какими-нибудь еще диалектическими хитросплетениями, а попросту, как говорится, ткну пальцем. Потакать слабостям своих друзей, закрывать глаза на их недостатки, восхищаться их пороками, словно добродетелями, -- что может быть ближе к глупости? Когда влюбленный целует родимое пятнышко своей подруги, когда Бальбин восхищается бородавкой своей Агны², когда отец говорит про косоглазого сына, будто у того плутоватые глазки, -- что это такое, как не чистойшей воды глупость? Да, конечно, трижды, четырежды глупость! -- но она одна

Соединяет друзей и дружбу хранит неизменно.

Я говорю о простых смертных, из коих ни один не рождается на свет без недостатков; у кого недостатков меньше, тот и лучше всех. Что же касается богоподобных Этих философов, то в их сердце вовсе не бывает дружбы; а если и бывает, то какая-то пасмурная, лишенная всякой приятности, распространяющаяся лишь на немногих, ибо большинство людей глупы и всякий дурачится на свой лад, а сближение возможно только с себе подобными. Если между этими суровыми мужами и зародилось взаимное благоволение, то оно не бывает прочным и длительным; да это и понятно: ведь они -- такие строгие, такие глазастые, на пороки друзей они зорки, "как орел или Змей Эпидаврский"³, а собственных пороков, словно котомки у себя за плечами, не видят. Такая уж у людей натура, что никто из них не бывает свободен от тяжких пороков. Прибавьте сюда разницу в годах и занятиях, промахи, ошибки, жизненные случайности и скажите: есть ли малейшая возможность для этих Аргусов⁴ вкушать сладость дружбы в течение хотя бы одного часа, ежели не придет к ним на помощь *эвифия*, как называют ее греки, а по-нашему глупость и легкомыслие? Да что там толковать! Сам Купидон, виновник и родитель всякого сближения между людьми, разве он не слеп, и разве не кажется ему *безобразное прекрасным*? То же бывает и с вами -- каждый доволен своим: старичок боготворит свою старушку, а мальчишка -- свою девчонку. Так происходит повсюду, и хоть над этим смеются, но именно смешные повадки людей делают жизнь приятной и связывают общество воедино.

ГЛАВА XX

Сказанное о дружбе еще с большим правом применимо и к браку, который есть не что иное, как союз между двумя людьми на всю жизнь. Боже бессмертный, сколько было бы повсеместно разводов или чего другого похуже, если б мужья и жены не скрашивали и не облегчали домашнюю жизнь при помощи лести, шуток, легкомыслия, заблуждения, притворства и прочих моих спутников! Да и много ли вообще заключалось бы браков, если б жених благоразумно осведомлялся, какими играми еще задолго до свадьбы забавлялась эта столь

деликатная и стыдливая на вид барышня? И сколь недолговечными были бы уже заключенные браки, если б деяния жен не оставались скрытыми вследствие беспечности или бестолковости мужей! Все это -- заслуга Глупости, ее одну надо благодарить, если жена по-прежнему любезна мужу, муж любезен жене, если в доме царит мир и семейные связи не разрываются. Над рогоносцем смеются и какими только не честят его именами, когда он поцелуями осушает слезы прелюбодейки. Но насколько лучше так заблуждаться, нежели терзать себя ревностью, обращая жизнь свою в трагедию!

ГЛАВА XXI

Одним словом, без меня никакое сообщество, никакая житейская связь не были бы приятными и прочными: народ не мог бы долго сносить своего государя, господин -- раба, служанка -- госпожу, учитель -- ученика, друг -- друга, жена -- мужа, квартирант -- домохозяина, сожитель -- сожителя, товарищ -- товарища, ежели бы они взаимно не заблуждались, не прибегали к лести, не щадили чужих слабостей, не потчевали друг друга медом глупости. Сказанного, по-моему, вполне достаточно, но погодите, сейчас вы услышите кое-что поважнее.

ГЛАВА XXII

Как вы думаете, может ли полюбить кого-либо тот, кто сам себя ненавидит? Сговорится ли с другими тот, кто сам с собой в разладе? Какой приятности ждать от того, кто сам себе опостылел и опротивел? Никто, полагаю, не дерзнет утверждать, будто нечто подобное возможно, -- разве что будет глупее самой Глупости. Попробуйте отвергнуть меня -- и не только все прочие люди станут вам несносны, но и каждый из вас себе самому сделается мерзок и ненавистен. Природа во многих смыслах скорей мачеха, нежели мать: ведь наградила же она смертных, особенно тех, кто чуть-чуть поумней, печальной склонностью гнушаться своего и ценить чужое.

А из-за этого вся сладость, все обаяние жизни оскверняются и погибают. Какой толк от красоты, высшего дара бессмертных богов, если она поражена гнилью? Что пользы в юности, ежели к ней примешана закваска старческой печали? Каким образом можешь ты действовать и в своих и в чужих глазах изящно и благовидно (а благовидность -- основа не одних только искусств, но и всех дел человеческих), ежели не явится тебе на помощь стоящая одесную меня Филавтия, которую я по заслугам считаю родной своею сестрой, -- так ловко разыгрывает она повсюду мою роль. Что может быть глупее самовлюбленности и самолюбования? Но что изящное или приятное можешь ты сделать, ежели сам себе будешь в тягость? Отними у жизни эту приправу, и ледяным холодом встречен будет оратор со своей речью, никому не угодит своими мелодиями музыкант, освистана будет игра актера, осмеян заодно с Музами поэт, впадет в ничтожество с искусством своим живописец, отощает от голода, сидя на своих лекарствах, врач. Вместо Нирея ты увидишь Терсита, вместо Фаона--Нестора¹, вместо Минервы -- свинью, вместо красноречивого оратора -- бессловесного младенца, вместо франта -- неотесанную деревенщину. Человек должен любоваться самим собой: лишь понравившись самому себе, сумеет он понравиться и другим. Наконец, высшее

блаженство состоит в том, "чтобы желания твои совпадали с выпавшим тебе жребием"², а в этом деле помочь может только моя Филавтия. Благодаря ей каждый бывает доволен своей внешностью, умом, происхождением, должностью, образом жизни и отечеством до такой степени, что ирландец не согласится поменяться с итальянцем, фракиец -- с афинянином, скиф -- с жителем Счастливых островов. Поразительна мудрость природы, которая при таком бесконечном разнообразии сумела всех уравнять! Если она кого и обделила своими дарами, то возмещает этот изъян усиленной дозой самодовольства, впрочем, прошу прощения за глупость: самодовольство как раз и является ее наилучшим даром. Смеею сказать: ни одно великое дело не обошлось без моего внушения, ни одно благородное искусство не возникло без моего содействия.

ГЛАВА XXIII

Не война ли -- рассадник и источник всех достохвальных деяний? А между тем что может быть глупее, чем вступать по каким бы то ни было причинам в состязание, во время которого каждая из сторон обязательно испытывает гораздо больше неудобств, нежели приобретает выгод? О тех, которые будут убиты, не стоит -- как говорили когда-то о мегарцах -- и *распространяться*. Но я спрашиваю вас: когда два войска, закованные в железо, стоят одно против другого и

"Хриплым рокотом труб оглашается воздух"¹,

какой толк от этих мудрецов, истомленных учением, с разжиженной, холодной кровью в жилах? Здесь потребны силачи, здоровяки, у которых побольше отваги и поменьше ума. Кому нужен такой воин, как Демосфен, который, следуя совету Архилоха, бежал, бросив щит, едва завидел врагов, -- прекрасный оратор, но никуда не годный воин!² Говорят, однако, что в военном деле прежде всего потребен ум. Да, для вождей, и к тому же -- ум военный, а вовсе не философский. А вообще-то война, столь всеми прославляемая, ведется дармоедами, сводниками, ворами, убийцами, тупыми мужланами, нерасплатившимися должниками и тому подобными подонками общества, но отнюдь не просвещенными философами.

ГЛАВА XXIV

Насколько философы непригодны для каждодневной жизни, тому пример сам Сократ¹, возведенный оракулом Аполлоновым в чин единственного в мире мудреца, -- вот уж приговор, который мудрым никак не назовешь! Вздумалось как-то Сократу, уже не помню по какому случаю, выступить с публичной речью, и он вынужден был удалиться, всеми осмеянный. А ведь муж этот был до такой степени мудр, что даже отвергал звание мудреца, считая его приличным только самому богу, и учил, что умному человеку не подобает вмешиваться в государственные дела; лучше бы уж он посоветовал держаться подальше от мудрости всякому, кто хочет оставаться в числе людей. Что в самом деле, как не мудрость, привело его к осуждению и к чаше с цикутой? Ну да, ведь рассуждая об облаках и идеях, измеряя ножки блохи и умиляясь пению

комара, он не успел научиться ничему имеющему отношение к обыденной жизни. Когда наставнику угрожала смертная казнь, его ученик Платон, преславный адвокат, запнулся на первой же фразе, смущенный шумом толпы. А что сказать о Теофрасте? ² Взойдя на ораторскую трибуну, он тотчас онемел, словно волка увидел. Исократ, воодушевлявший в своих писанных речах воинов накануне битвы, был так застенчив, что ни разу не решился рта раскрыть перед публикой. Марк Туллий³, отец римского красноречия, когда начинал говорить, трясся самым жалким образом, задыхаясь и всхлипывая, словно мальчишка, в чем Фабий видит доказательство добросовестного и сознательного отношения оратора к своей задаче. Однако, утверждая это, не признает ли он тем самым мудрость препятствием для достойного ведения тяжб? Что станется с нашими философами, когда в ход пойдет железо, раз они трепещут от страха даже в простом словесном бою? И после этого еще прославляют знаменитое изречение Платона: "Блаженны государства, в которых философы повелевают или властители философствуют"⁴. Справься у историков -- и увидишь, что ничего не бывало для государства пагубнее, нежели правители, которые баловались философией или науками. Для примера здесь достаточно будет поименовать обоих Катонов, из коих один смущал спокойствие республики дурацкими доносами, а другой, с излишней мудростью защищая свободу народа римского, способствовал ее окончательному падению⁵. Прибавьте сюда Брутов, Кассиев, Гракхов⁶ и даже самого Цицерона, который не меньше вреда принес республике Римской, нежели Демосфен -- Афинской. Уж на что Марк Антонин, который, признаюсь, был хорошим императором, и то своей философией сделался всем в тягость и возбудил всеобщую ненависть. Он был человек добрый, но, оставив престол такому наследнику, как сын его Коммод, больше причинил государству вреда, нежели принес пользы всем своим управлением⁷. Почему-то нет удачи людям, приверженным мудрости, ни в одном из дел их, особливо же -- в детях, как будто сама предусмотрительная природа заботится о том, чтобы болезнь мудрования не распространилась слишком широко. Известно, что сын Цицерона был настоящим выродком, а мудрый Сократ имел детей, более похожих на мать, чем на отца, иными словами, как правильно заметил некто, настоящих дураков.

ГЛАВА XXV

Однако пусть они даже будут не способны к общественным занятиям, как *ослы к музыке*, -- это еще куда ни шло; но ведь от них и в повседневных житейских делах нет никакого проку. Допусти мудреца на пир -- и он тотчас всех смутит угрюмым молчанием или неуместными расспросами. Позови его на танцы -- он запляшет, словно верблюд. Возьми его с собой на какое-нибудь зрелище -- он одним своим видом испортит публике всякое удовольствие; и придется мудрому Катону уйти из театра, если он не сможет хоть на время отложить в сторону свою хмурую важность. Если мудрец вмешается в разговор -- всех напугает не хуже волка. Если надо что-либо купить, если предстоит заключить какую-либо сделку, если, коротко говоря, речь пойдет об одной из тех вещей, без которых невозможна наша жизнь, тупым чурбаном покажется тебе мудрец этот, а не человеком. Ни себе самому, ни отечеству, ни своим близким не может быть он ни в чем полезен, ибо не искушен в самых обыкновенных делах и слишком далек от общепринятых мнений и всеми соблюдаемых обычаев. Из такого разлада с действительной жизнью и нравами неизбежно рождается ненависть ко всему окружающему, ибо в человеческом обществе все полно глупости, все делается дураками и среди дураков. Ежели кто захочет один

восстать против всей вселенной, я посоветую ему бежать, по примеру Тимона¹, в пустыню и там, в уединении, наслаждаться своей мудростью.

ГЛАВА XXVI

Но возвращаюсь к прежней своей мысли: какая сила собрала этих каменных, дубовых, диких людей в государство, если не лесь? Таков единственный смысл преданий об Амфионе и Орфее¹. Что утихомирило римский плебс, уже готовый разрушить республику? Уж не философская ли диссертация? Ничуть не бывало! Просто смешная ребяческая басня о чреве и членах человеческого тела². Не менее пользы принесла сходная басня Фемистокла о лисице и еже³. Какая мудрая речь могла бы сравниться по своему действию с выдумкой Сертория, рассказавшего солдатам про вещь лань⁴, или с опытами, которые славный спартанец проделал с двумя собаками⁵, а тот же Серторий -- с лошадиным хвостом⁶. Не буду говорить о Миносе и Нуме, которые правили глупой толпой посредством ловко придуманных басен⁷. Чепуха этого сорта приводит в движение исполинского, мощного зверя -- народ.

ГЛАВА XXVII

А с другой стороны, было ли когда-нибудь такое государство, которое бы приняло законы Платона или наставления Сократа? Что побудило Дециев добровольно посвятить себя подземным богам¹, что заставило Курция броситься в расщелину², если не суетная слава--эта обольстительная сирена, строго порицаемая нашими мудрецами? Что может быть глупее, говорят они, чем пресмыкаться перед народом, домогаясь высокой должности, снискивать посулами народное благоволение, гоняться за рукоплесканиями глупцов, радоваться приветственным кликам, позволять носить себя во время триумфа, словно знамя, на потеху черни, стоять на площади в образе медной статуи? А громкие имена и почетные прозвища?! А божеские почести, воздаваемые ничтожнейшим людишкам, а торжественные обряды, которыми сопричислялись к богам гнуснейшие тираны?! Все здесь глупость на глупости, и для осмеяния всего этого понадобился бы не один Демокрит. Станет ли кто оспаривать мое мнение? Но не из этого ли источника родились подвиги могучих героев, превознесенных до небес в писаниях столь многих красноречивых мужей? Глупость создает государства, поддерживает власть, религию, управление и суд. Да и что такое вся жизнь человеческая, как не забава Глупости?

ГЛАВА XXVIII

Но обратимся к наукам и искусствам. Что, кроме жажды славы, могло подстрекнуть умы смертных к изобретению и увековечению в потомстве стольких, по общему мнению, превосходных наук? Воистину глупы донельзя люди, полагающие, что какая-то никчемная, ничего не стоящая известность может

вознаградить их за бдения и труды. Да, именно Глупости обязаны вы столь многими и столь важными жизненными удобствами, и -- что всего слаще -- вы пользуетесь плодами чужого безумия.

ГЛАВА XXIX

Теперь, когда я уже воздала похвалы могуществу моему и трудолюбию, мне остается еще похвалить себя за рассудительность. Иные скажут, что рассудительность мне столь же родственна, сколь вода огню; но я надеюсь убедить вас в обратном -- слушайте только меня по-прежнему внимательно и благосклонно.

Прежде всего, если рассудительность сказывается в деловитости, то кто, спрошу я, имеет право притязать на почетное звание человека рассудительного: мудрец ли, который отчасти по излишней совестливости, отчасти по малодушию ничего не решается предпринять, или на все дерзающий дурак, не сдерживаемый ни стыдом, которого не имеет, ни опасностью, которой не сознает. Мудрец обращается к древним писаниям и выискивает в них одни только хитросплетения словес. Дурак, напротив того, постоянно вращаясь в самой гуще жизни, приобретает, по-моему, истинную рассудительность. Это ясно видел, вопреки своей слепоте, еще Гомер и потому сказал: *"Событие зрит и безумный"*¹. Поистине, два великих препятствия стоят на пути правильного понимания вещей: стыд, наполняющий душу, словно туман, и страх, который перед лицом опасности удерживает от смелых решений. Но Глупость с удивительной легкостью гонит прочь и стыд и страх. Однако лишь немногие смертные понимают, сколь выгодно и удобно никогда не стыдиться и ни перед чем не робеть.

Если же под рассудительностью разумеется способность правильно судить о вещах, то послушайте, молю вас, сколь далеки от нее те, кто всего более похваляется этой способностью. Прежде всего, не подлежит сомнению, что любая вещь имеет два лица, подобно Алкивиадовым силенам², и лица эти отнюдь не схожи одно с другим. Снаружи как будто смерть, а загляни внутрь -- увидишь жизнь, и наоборот, под жизнью скрывается смерть, под красотой -- безобразие, под изобилием -- жалкая бедность, под позором -- слава, под ученостью -- невежество, под мощью -- убожество, под благородством -- низость, под весельем -- печаль, под преуспеванием -- неудача, под дружбой -- вражда, под пользой -- вред; коротко говоря, сорвав маску с Силена, увидишь как раз обратное тому, что рисовалось с первого взгляда. Быть может, кому-нибудь это мое рассуждение покажется чересчур философским -- извольте, буду говорить грубее и проще. Кого, как не короля, считать богатым и могучим? Но если не имеет он в душе своей ничего доброго, если вечно он ненасытен, то остается беднейшим из бедняков. А если к тому же в душе он привержен многим порокам, -- он уже не только нищий, но и презренный раб. Подобным же образом надлежит рассуждать и обо всем прочем. Но хватит с нас и одного примера.

"К чему, однако, все это?" -- быть может, спросит кто-либо из вас.

Сейчас услышите, куда я клоню. Если бы кто-нибудь сорвал на сцене маски с актеров, играющих комедию, и показал зрителям их настоящие лица, разве не расстроил бы он всего представления и разве не прогнали бы его из театра камнями, как юродивого? Ведь все кругом мгновенно приняло бы новое обличье, так что женщина вдруг оказалась бы мужчиной, юноша -- старцем, царь -- жалким оборвышем, бог -- ничтожным смертным. Устранить ложь -- значит испортить все представление, потому что именно лицедейство и притворство

приковывают к себе взоры зрителей. Но и вся жизнь человеческая есть не иное что, как некая комедия, в которой люди, нацепив личины, играют каждый свою роль, пока хорег не уведет их с просцениума³. Хорег этот часто одному и тому же актеру поручает различные роли, так что порфиноносный царь внезапно появляется перед нами в виде несчастного раба. В театре все оттенено более резко, но, в сущности, там играют совершенно так же, как в жизни. Что, ежели теперь какой-то свалившийся с неба мудрец вдруг поднимет крик, уверяя, будто тот, кого все почитают за бога и своего господина, -- даже и не человек, ибо по-скотски следует лишь велениям страстей, что он -- подлый раб, ибо сам добровольно служит многим и к тому же гнусным владыкам? Что, если, встретив человека, оплакивающего своего умершего отца, мудрец повелит ему радоваться, коль скоро лишь теперь покойник начал по-настоящему жить: ведь наша здешняя жизнь -- лишь подобие смерти?! Что, если тот же мудрец, увидя дворянина, хвастающегося своими предками, обзовет его безродным нищим на том основании, что ему чужда сердечная доблесть, единственный источник истинного благородства? Что, если он со всеми и с каждым вздумает рассуждать подобным же образом -- разве не станут все глядеть на него, как на буйно помешанного? Как ничего нет глупее непрошеной мудрости, так ничего не может быть опрометчивее сумасбродного благоразумия. Сумасбродом называю я всякого не желающего считаться с установленным положением вещей и применяться к обстоятельствам, не помнящего основного закона всякого пиршества: *либо пей, либо -- вон*, и требующего, чтобы комедия не была комедией. Напротив, истинно рассудителен тот, кто, будучи смертным, не стремится быть мудрее, чем подобает смертному, кто снисходительно разделяет недостатки толпы и вежливо заблуждается заодно с нею. Но ведь в этом и состоит глупость, скажут мне. Не стану спорить, но согласитесь и вы, что это как раз и значит играть комедию жизни.

ГЛАВА XXX

Говорить ли мне дальше, о боги бессмертные, или умолкнуть теперь же? Зачем умолкать, когда слова мои -- сущая правда? Но, пожалуй, в таком деле не мешало бы пригласить на помощь Муз геликонских¹, к которым поэты то и дело взывают из-за всякой чепухи. Так пособите же мне малость, дщери Юпитера, дабы могла я доказать, что к высокой оной мудрости, к этой твердыне блаженства, как ее прозвали философы, не отыскать пути, ежели Глупость не согласится быть вашим вожатым. Уже признано нами, что все чувствования подлежат ведению Глупости. Тем и отличен от дурня мудрец, что руководствуется разумом, а не чувствами. Поэтому стоики тщатся отстранить от мудреца все волнения, словно какие-то недуги, забывая, что чувства и страсти не только как рачительные пестуны направляют поспешающего в гавань мудрости, но сверх того служат хлыстом и шпорами доблести, ибо они-то и побуждают человека ко всякому доброму делу. Правда, это яростно оспаривает сугубый стоик Сенека, воспрещающий мудрецу всякое душевное волнение. Но при этом он уже ничего не оставляет от человека, а *создает* некоего нового бога, какого никогда не бывало и никогда не будет; говоря яснее, он воздвигает мраморное подобие человека, застывшее и лишённое всех людских свойств. Пусть философы, ежели им это нравится, носятся со своим мудрецом, пусть никого не любят, кроме него, пусть пребывают с ним вместе в государстве Платона, или в царстве идей², или в садах Танталовых!³ Кто не убежит в ужасе от такого существа, не то чудовища, не то привидения, недоступного природным чувствованиям, не знающего ни любви, ни жалости,

твердому камню подобного, скалам Марпесса холодным⁴,

от которого ничто не ускользает, который никогда не заблуждается, который, подобно зоркому Линкею⁵, все видит насквозь, все тщательно взвешивает, все знает, который одним только собой доволен, один богат, один Здоров, один -- царь, один -- свободен, коротко говоря, он один -- все, но... лишь в собственных своих помышлениях; не печалится он о друге, ибо сам никому не друг, даже богам готов накинуть петлю на шею, и все, что только случается в жизни, он осмеивает и порицает, во всем усматривая безумие. Вот он каков, этот совершенный мудрец. Теперь позвольте спросить: если бы вопрос решался голосованием, какое государство согласилось бы поставить над собою подобного правителя, какое войско последует за подобным вождем, какая женщина изберет себе такого супруга, кто согласится иметь за столом такого сотрапезника, какой раб снесет иго господина, обладающего подобным нравом? Кто не предпочтет ему последнего дурака из простонародья, который равно способен и повелевать глупцами и повиняться им, который будет угоден себе подобным (а таких всегда большинство), ласков с женой, обходителен с друзьями, весел на пиру, приятен в сожительстве и которому не чуждо ничто человеческое?! Но мне даже противно говорить долее об этом мудреце. Обратимся лучше к другим благам, которые доставляет вам Глупость.

ГЛАВА XXXI

Ежели поглядеть на наш мир с высоты небес, как смотрит, по рассказам поэтов, Юпитер, скольких бед исполнена жизнь человеческая: жалкое и грязное рождение, мучительное воспитание, детство, сопряженное с бесчисленными обидами, юность, обремененная бесчисленными трудами, тяжкая старость, суровая неизбежность смерти, целая рать болезней, множество несчастных случайностей и житейских невзгод -- повсюду мед отравлен желчью! Не стану уж вспоминать, сколько зла причиняет человек человеку! Бедность, тюрьма, позор, бесчестие, пытки, мятежи, интриги, злословие, тяжбы, обманы... Но не пытаюсь ли я, в самом деле, *исчислить песок морской*? Негоже рассуждать здесь о том, какими грехами навлекли на себя люди все эти бедствия или какой гневный бог осудил их рождаться для горя и скорбей. Воистину всякий, кто поразмыслит как должно, никогда не осудит Милетских дев, сколь ни жалкой представляется нам их участь¹. Но какие люди чаще всего налагали на себя руки, пресытившись печалью жизни? Не те ли, которые ближе всего стояли к мудрости? Не говоря уже о Диогенах, Ксенократах², Катонах, Кассиях и Брутах, напомним здесь Хирона, который мог получить бессмертие, но выбрал смерть³. Судите сами, что случилось бы, если б все люди были мудрецами: опять понадобился бы кусок глины, и вновь пришлось бы взяться за работу гончару Прометею⁴. Но я, обращаясь к помощи то невежества, то бездумья, дарю забвение всех зол и надежду на лучшее будущее, щедро окропляя людей медвяной росой наслаждения, так успешно помогаю им в бедах, что никто не желает расставаться с жизнью, прежде чем не кончилась нить Парок⁵ и жизнь сама не оставила тела; чем меньше у человека причин дорожить существованием, тем крепче он за него цепляется, не подозревая даже, что такое пресыщение и тоска. Благодаря моим дарам вы увидите повсеместно старцев в летах Нестеровых, у которых и образа человеческого не сохранилось -- шамкающих, слабоумных, беззубых, седых, лысых, или, как рисует их Аристофан, *неопрятных, скрюченных, жалких*,

сморщенных, оплешивевших, оступевших, но сластолюбивых⁶; и, однако, они так наслаждаются жизнью, так *молодятся*, что иной, глядишь, красит свои седины, другой прикрывает лысину накладными кудрями, третий вставляет себе зубы, быть может, выдернутые из свиной челюсти, четвертый жалостно вздыхает по какой-нибудь девчонке и в любовных глупостях готов состязаться с зеленым юнцом. Иные в гроб смотрят, настоящие старые хрычи, а туда же, берут себе молодую жену, бесприданницу, конечно, и берут ее на потребу не столько себе, сколько другим; это случается повсеместно и вызывает даже похвалы. Еще забавнее, когда дряхлая старуха, труп трупом, словно только что с того света воротилась, то и знай повторяет: "*Светик мой*", резвится, *жеманится*, привлекает за немалую мзду какого-нибудь Фаона, усердно расписывает румянами лицо, не отходит от зеркала, выщипывает заросли у себя между ногами, выставляет напоказ свои увядшие, рыхлые груди, криками, визгом подстрекает уснувшее вожделение, тянет вино, как губка, вмешивается в толпу пляшущих девушек, строчит любовные цидулки. Все над ней смеются, потому что это воистину весьма глупо; но сами старушонки собою довольны, наслаждаются жизнью, упиваются медом, и все -- по моей милости. И я прошу всех, кто находит это смешным, поразмыслить, что лучше -- наслаждаться подобным образом, присодействии Глупости, или искать, как это говорится, перекладину для петли? Что касается позора, который, по общему мнению, навлекают на человека такие дела, то для моих дурачков его словно и не существует: они либо вовсе его не сознают, либо ежели сознают, то легко с ним мирятся. Вот если камень на голову свалится, это -- настоящая беда, а позор, бесчестие, хула и дурная молва лишь постольку доставляют неприятности, поскольку мы их замечаем. А не замечаем -- так и беды нет совсем. Что тебе до того, ежели все кругом тебя свищут, когда сам ты себе рукоплещешь? Но все это становится возможным единственно при помощи Глупости.

ГЛАВА XXXII

Однако я уже предвижу, что со мной заспорят философы. "Подчиняться Глупости, -- скажут они, -- заблуждаться, обманываться, коснеть в невежестве -- все это и Значит быть несчастным". Нет, это значит быть человеком. Не понимаю, чего ради называть таких людей несчастными, раз они так рождены, так воспитаны, так приучены и ежели таков общий удел. Нет никакого несчастья в том, чтобы во всех отношениях быть подобным другим существам своей породы, иначе придется жалеть человека потому, что он не может летать вместе с птицами, не ходит на четвереньках вместе со скотами и не носит на лбу рогов наподобие быка. Воистину тогда пришлось бы назвать несчастливцем и прекраснейшего коня, -- потому что он не знает грамматики и не ест пирожных, и быка, -- потому что он не пригоден для забав палестры¹. Но если нечего жалеть неискушенного в грамматике коня, то нельзя назвать несчастным и глупого человека, ибо такова уж его натура. Здесь опять ополчатся на меня хитроумные спорщики: "Для того, -- говорят они, -- дано человеку, в отличие от прочих живых существ, познание наук, чтобы он образованием ума восполнял пробелы, оставленные природой". Но разве это хоть в малой мере похоже на правду? Природа, с таким бдительным тщанием создавшая мошек, травы и цветы, задремала, извольте видеть, и дала маху, когда творила человека, так что один он нуждается в поддержке наук -- тех самых наук, которые на погибель роду человеческому изобрел Тевт², этот враждебный людям гений! Отнюдь не способствуя нашему счастью, науки лишь вредят той цели, ради

которой они якобы созданы, как Это изящно доказывает у Платона один умный царь³.

Итак, науки, вместе с другими язвами человеческой жизни, появились на свет лишь по вине тех, от кого происходят все наши напасти, а именно -- по вине демонов; на то указывает самое их название -- демоны, словно бы *даэмоны*, то есть знающие. В золотом веке человеческий род, не вооруженный никакими науками, жил, следуя указаниям одной природы. Какая, в самом деле, была нужда в грамматике, когда у всех был один общий язык и искусство речи служило лишь для того, чтобы люди понимали друг друга? Какую пользу могла принести диалектика, когда не существовало несходных мнений? Есть ли место риторике там, где никто не доставляет соседу никаких хлопот? К чему знание законов при отсутствии дурных нравов, от которых, -- в том нет сомнения, -- родились хорошие законы? Далее, древние люди были слишком богобоязненны, чтобы испытывать с нечестивым любопытством тайны природы, исчислять величину, движения и влияния небесных тел, пытаться проникнуть в сокровенные причины вещей; они сочли бы кощунством желание смертного человека сделаться мудрее, нежели то предопределено его жребием. А безумная мысль исследовать то, что находится за пределами небес, никому и в голову не приходила. Но по мере того как первобытная невинность золотого века начала клониться к упадку, злые гении изобрели науки и искусства, впрочем, на первых порах весьма немногочисленные и усвоенные лишь немногими. Впоследствии суеверие халдеев⁴ и праздное легкомыслие греков присовокупили сюда множество новых орудий умственной пытки, и теперь одной грамматике за глаза хватит, чтобы обратить в сплошное мученье всю жизнь человека.

ГЛАВА XXXIII

Впрочем, и между самими науками превыше всего пеняется те, которые ближе стоят к здравому смыслу, иначе говоря, к глупости. Голодают богословы, мерзнут физики, терпят посмеяние астрологи, живут в пренебрежении диалектики. Только *муж врачеватель многим другим предпочтен*¹. Но и среди врачей -- кто невежественнее, нахальнее, безрассуднее остальных, тому и цена выше даже у венчаных государей. Да и сама медицина, в том виде, в каком многие ею теперь занимаются, не что иное, как искусство морочить людей, -- нисколько не хуже риторики.

К врачам ближе всего законники-крючкотворы; быть может даже, их следует поставить на первое место -- сама судить не решусь; во всяком случае, все философы единодушно называют их ремесло ослиным. И, однако, от решений этих ослов зависят все дела -- как самые важные, так и самые незначительные. Имена законников умножаются, между тем как теолог, постигнувший глубочайшие тайны божества, жует волчцы и ведет жестокую войну с клопами и блохами. Итак, если среди ученых счастливее других те, которые состоят в наиболее близком родстве с Глупостью, то, без сомнения, величайшие счастливицы -- те, кто воздерживается от всякого соприкосновения с науками и исполняет веления одной природы; ведь природа никогда не заблуждается, разве только мы сами попытаемся перешагнуть за положенные человеческой доле границы. Ненавистна природе всякая подделка, и всего лучше бывает то, что не искажено ни наукой, ни искусством.

ГЛАВА XXXIV

Посмотрите далее на любую другую породу живых существ: всех счастливей -- те, которые не знают ни учения, ни дрессировки, но живут исключительно по закону природы. Кто блаженнее пчел, кто более их достоин восхищения? А ведь они даже не обладают всеми нашими телесными чувствами. Какой зодчий может с ними сравниться? Какому философу удалось учредить столь совершенную республику? С другой стороны -- вот вам лошадь: чувствами своими она вполне подобна человеку и уже давно стала его товарищем и спутником, зато и делит с ним все невзгоды. Во время состязаний она задыхается от усталости, боясь поражения, а на войне напрягает все силы для победы, пока не ударится мордой о землю, рухнув вместе с седоком. Не говорю уже о зубчатых удилах, шпорах с острыми шипами, стойлах, подобных темницам, плетях, палках, путах, тяжести всадника и вообще обо всей этой трагедии рабства, на которую она добровольно себя обрекла, потому что стремится, подражая могучим мужам, отмщать своему врагу любой ценой. Насколько завиднее жизнь мушек и птичек, не знающих иного руководителя и наставника, нежели природа! Лишь бы только люди не преследовали их своими западнями, ибо стоило бы птице попасть в клетку, как она привыкает болтать человеческим языком и теряет весь блеск своей природной красоты. Настолько творения природы выше подделок искусства! Не нахожу достаточно похвал для того петуха Пифагора, который последовательно был философом, мужчиной, женщиной, царем, простолюдином, рыбой, лошадью, лягушкой и даже, сколько помнится, губкой и решил в конце концов, что нет существа несчастнее человека, поскольку все остальные животные довольствуются теми пределами, в которые их заключила природа, и лишь он один пытается раздвинуть границы своего жребия¹.

ГЛАВА XXXV

Далее, по мнению того же петуха, между людьми идиоты стоят много выше ученых и знатных. Грилл оказался гораздо мудрее *многоопытного* Одиссея, когда предпочел лучше хрюкать в хлеву, чем подвергаться вместе со своим предводителем новым опасностям. В этом со мною, кажется, согласен и сам Гомер, отец всяческой чуши, ибо он постоянно именует смертных *жалкими и злополучными*, а мудрого своего Одиссея частенько зовет *горемыкой*, между тем как ни разу не дает этого прозвища ни Парису, ни Аяксу, ни Ахиллу. Почему бы это? Не потому ли, что хитрый выдумщик Одиссей ничего не предпринимал без совета Паллады, мудрил свыше меры и постоянно отвергал внушения природы? Итак, между смертными те всего далее от блаженства, которые стремятся к мудрости, нет! они вдвойне глупы, ибо, родившись на свет людьми, мечтают, забывая о своей доле, уподобиться бессмертным богам и по примеру титанов ведут войну против природы с помощью машин, именуемых науками. Зато как счастливы, по-видимому, те, которые всего ближе к безмозглым скотам и даже не помышляют ни о чем чересчур высоком! Попробуем пояснить это не стоическими Энтимемами¹, но самым грубым и для всех очевидным примером. Бессмертными богами клянусь, не лучше ли всего живет той породе людей, которые слывут шутами, дураками, тупицами, болванами, -- прекрасные, на мой вкус, прозвища! То, что я сейчас скажу, с первого взгляда может показаться нелепым и бессмысленным, я однако, это -- истинная правда. Прежде всего, подобного рода люди свободны от страха смерти -- зла превеликого, клянусь Юпитером! Укоров совести они не знают, призраков и прочей нежити не страшатся, боязнь грядущих бедствий не терзаются, надеждой на будущие блага

не обольщаются. Говоря короче, не тяготят их тысячи забот, которыми полна наша жизнь. Не стыдятся они, не завидуют, ни о чем не хлопочут, никого не любят и не уважают. Еще один шаг в сторону скотского неразумия -- и, по мнению богословов, их заблуждения даже грехом нельзя будет назвать. А теперь взвесь, глупейший мудрец, все заботы, которые денно и ночью гложут твою душу, собери воедино все невзгоды твоей жизни, и ты уразумеешь, от скольких зол спасаю я моих дураков. Добавь сюда, что они не только сами вечно радуются, резвятся, напевают, смеются, но сверх сего одним своим появлением и другим людям приносят веселье, радость, шутки и смех, словно посланы милосердными богами разгонять все печали человеческой жизни. Потому-то, хотя вообще люди относятся друг к другу отнюдь не одинаково, дурачков все любят, как близких и родных, зовут в гости, балуют, ласкают, приходят к ним на помощь в беде; им позволяют безнаказанно говорить и делать что угодно. Никто не решится причинить им обиду, даже дикие звери их не трогают ради их простоты. Поистине, они посвящены богам, особенно -- мне, почему и пользуются всеобщим и заслуженным уважением.

ГЛАВА XXXVI

Дураки служат потехой величайшим властителям; иные без них ни трапезовать, ни прогуливаться, ни даже единого часа прожить не могут. Своих дурачков государи любят, без всякого сомнения, больше, нежели хмурых мудрецов, которых, впрочем, тоже содержат у себя при дворе чести ради. Причина такого предпочтения столь же ясна, сколь мало удивительна: мудрецы привыкли докладывать государям обо всем печальном, и, гордые своей ученостью, они дерзают порою оскорблять нежные уши язвительной правдой. Наоборот, глупые выходки шутов, их прибаутки, хохот, балагурство монархам всего больше по нраву. Примите в расчет и то немаловажное обстоятельство, что одни дураки бывают вполне искренни и правдивы. А что похвальнее правдивости? Я знаю, Алкивиад в диалоге Платона называет правду спутницей вина и детства, но в действительности мне причитается по заслугам эта хвала; порукою тому Эврипид, которому принадлежит следующее знаменитое изречение: *"Глупый по-глупому и говорит"*¹. У дурачка что в сердце скрыто, то и на лбу написано, то и с языка срывается. А у мудрецов, как заметил тот же Эврипид, два языка, из коих один говорит правду, а другой разглагольствует сообразно времени и обстоятельствам. Разумники эти -- мастера превращать черное в белое, из одних и тех же уст выпускать поочередно холод и жар, одно таить в груди, а другое изъяслять в речах. При всем видимом благополучии своим государи представляются мне несчастнейшими из смертных, потому что никто не говорит им правды и вместо друзей имеют они только льстецов. Но, скажут мне, царские уши не выносят правды; по этой причине и убегают государи от мудрецов, опасаясь, как бы не отыскался среди них человек свободный, который посмеет говорить вещи скорее правдивые, нежели приятные. Это действительно так: ненавистна истина царям. Но то и удивительно в моих дурачках, что от них не только правда, но явные даже укоры выслушиваются с приятностью: пусть обронит неосторожное слово мудрец -- головой своей он заплатит за это, а в устах у глупого шута те же самые речи вызывают бурю восторга. Истине самой по себе свойственна неотразимая притягательная сила, если только не примешивается к ней ничего обидного, но лишь одним дуракам даровали боги уметь говорить правду, никого не оскорбляя. Пожалуй, по тем же причинам и женщины отдают предпочтение мужчинам этого сорта, ибо они больше других склонны к забавам и всякому вздору. А сверх того, до чего бы

ни дошло у женщины с дураком, хотя бы и до самого крайнего, все легко объяснить игрою и шуткой. Поистине, неистощим на выдумки этот пол, в особенности -- когда надо скрыть свои шашни!

ГЛАВА XXXVII

Но возвращаюсь снова к благополучию дураков. Прожив с великой приятностью жизнь, не отравленную страхом и предчувствием смерти, они переселяются прямо в Поля Елисейские¹ дабы забавлять там своими шутками скучающие души праведных.

А теперь сравним жребий какого угодно мудреца с участью глупого шута. Представьте себе человека, который все детство и юность свои провел в усвоении наук, который убил лучшую часть жизни на непрестанные бдения, заботы, труды, а в прочие годы не вкушал никаких наслаждений; неизменно бережливый, бедный, печальный, хмурый, к самому себе взыскательный и суровый, для других тягостный и ненавистный, бледнолицый, тощий, хилый, подслеповатый, преждевременно состарившийся и поседевший, он до срока расстается с жизнью. Впрочем, не все ли равно, когда он умрет -- ведь он и не жил вовсе! Вот вам образ совершенного мудреца!

ГЛАВА XXXVIII

Но тут снова заквакали мне в уши *стоические лягушки*. "Нет, -- говорят они, -- ничего столь жалкого, как безумие, а величайшая глупость соседствует с безумием, вернее сказать, она-то и есть настоящее безумие. Что Значит безумствовать, если не заблуждаться во всех своих помыслах?" Но сами они заблуждаются от начала и до конца своего пути. Разобьем-ка, при помощи Муз, и этот их силлогизм.

Подобно тому как у Платона Сократ рассекает Венеру на две части и из одного Купидона делает двух¹, так и этим диалектикам, при всей их тонкости и хитрости, не мешает отличать безумие от безумия, если только они желают казаться в здравом уме. Отнюдь не всякое безумие губительно. Иначе не сказал бы Гораций:

*Иль сладко безумье так
Прельщает слух и зренье мне??*

Платон не поименовал бы неистовства поэтов, пророков и влюбленных в числе наивысших жизненных благ, и прорицательница не нарекла бы безумным подвиг Энея³. Все дело в том, что безумие бывает двоякого рода: иногда оно посылается из подземного царства жестокими мстительницами, которые, вселяя в нашу грудь ядовитых Змей, воспаляют ее то воинственным пылом, то неутолимою жадной золота, то недозволенной и постыдной любовью, то страстью к отцеубийству, кровосмешению, святотатству и другим подобным злодействам или преследуют преступную душу, устрашая ее фуриями и грозными факелами. Но есть и другое, нисколько не сходное с первым безумие, исходящее от меня и для всех отрадное. Оно постигает человека всякий раз, когда какое-либо приятное заблуждение ума освобождает душу от мучительных забот и одновременно досыта поит наслаждениями. Подобная ошибка сама по себе есть наилучший дар богов, о ней-то именно и мечтал Цицерон, когда писал к Аттику⁴, что желает не сознавать великого множества окружающих его бедствий. А разве так уж опасно заблуждался тот аргиевнин,

помешательство которого выражалось лишь в том, что он целые дни просиживал в театре один-одинешенек, смеясь, рукоплеща, радуясь, как будто присутствовал при исполнении восхитительной трагедии, тогда как в действительности перед ним не было ни единого актера. Во всех остальных житейских делах он вел себя вполне разумно и дельно.

*Добрый соседом он был и хозяином гостеприимным,
Ласков с женою; умел снисходительным быть и к рабам он,
В яростный гнев не впадал, коль печать повредят у бутыли.*

Но когда родственникам удалось победить болезнь лекарствами и он пришел в себя, то немедленно стал жаловаться:

*...Не спасли вы меня, а убили,
Други, -- сказал он, -- клянусь! Ибо вы наслажденье исторгли,
Отняли силой обман, что приятнейшим был для сознания⁵.*

И правильно: не он, а они скорее нуждались в лечении, ибо иначе не пришло бы им в голову изгонять при помощи целебных снадобий такое блаженное и приятное безумие.

Но мы до сих пор еще не установили, что следует называть безумием -- обман чувств или ошибку ума. Ведь ежели человеку близорукому мул представится ослом, то это еще не помешательство; ежели кто сочтет жалкие вирши превосходнейшими стихами, то он еще не сумасшедший. Настоящим помешанным можно считать лишь того, кому изменяют не только внешние чувства, но и способность суждения, и при этом не случайно, но постоянно, -- например, если кто, заслышав рев осла, каждый раз будет утверждать, что слышит упоительную музыку, или если человек, рожденный в подлом звании и нищете, возомнит себя богатым и могущественным, словом Крез, царь Лидийский. Но тот род безумия, обычно соединяющийся с веселостью, весьма приятен и тому, кто им одержим, и тому, кто наблюдает его со стороны, сам оставаясь в полном душевном здравии. Такое безумие распространено гораздо шире, нежели принято думать. Сплошь да рядом двое помешанных смеются друг над другом к обоюдному удовольствию. Нередко даже увидите, как тот, чье безумие сильнее, смеется куда громче того, в ком еще сохранился остаток здравомыслия.

ГЛАВА XXXIX

По моему глупому суждению, всех счастливее тот, кто всех безумнее, лишь бы он был подвержен тому виду помешательства, который свойствен мне и который встречается столь часто, что среди всего великого множества смертных вряд ли найдется человек, который вечно оставался бы в здоровом уме и не страдал каким-нибудь видом безумия. Ежели кто, видя тыкву, принимает ее за свою жену, то его называют сумасшедшим, поскольку такие случаи редки. Но если он, имея супругу, которую делит с весьма многими, в счастливом неведении клянется, что она вернее Пенелопы, и весьма тому радуется, -- его никто не назовет безумцем, ибо подобного рода мужей можно видеть повсюду.

К этому сословию принадлежат и те, кто ради охоты на красного зверя позабывает обо всем на свете; такие люди утверждают, будто испытывают несказанное блаженство, слыша вопли рогов и тявканье собак. Полагаю даже, что собачий кал пахнет для них киннамоном'. А что за наслаждение свежевать зверя! Резать быков и баранов подобает простолодину, но рассекать на части красного зверя не разрешается никому, кроме благородных. Да и те обязаны разрубать туши, обнажив голову, преклонив колена, действуя мечом, нарочито для того предназначенным, а не первым подвернувшимся под руку; все здесь предусмотрено: каждое движение, чередование отсекаемых членов и прочее,

совсем, как в церковном обряде. А вокруг стоит безмолвная толпа и дивится, как будто глядит на какую-то новинку, а не на привычное, тысячу раз виденное зрелище. А если кому посчастливится и отведать дичины, то ликует он так, словно приобщился к высокороднейшему дворянству. Следствием же этой усердной травли и поеданья зверей оказывается лишь то, что люди сами превращаются чуть ли не в скотов, хотя мнят себя живущими по-царски.

Всего ближе к этому роду помешанных стоят неутомимые зодчие, без конца перестраивающие круглое здание в квадратное и квадратное -- в круглое; занятие это не знает ни конца, ни предела, доколе строители наши, промотавшись в пух, не останутся без крова и пропитания. Что за беда? Зато несколько лет они пожилы в полное свое удовольствие.

За ними следуют те, кто при помощи тайных, невиданных прежде наук тщатся преобразовать природу вещей и отыскивают некую пятую сущность на суше и в морской пучине². И так обольщает их сладкая надежда, что не жалеют они ни трудов, ни издержек, с удивительной изобретательностью придумывают постоянно что-нибудь новое, обманывают и морочат без приятнейшим образом до тех пор, пока не лишатся всего и не останутся без гроша -- даже горн починить не на что. Это, однако, не мешает им по-прежнему видеть радужные сны и соблазнять других людей тем же блаженством. Когда же покидает их, наконец, всякая надежда, то они всласть утешаются известным изречением:

Важно уже и стремление в деле великом³.

При этом они жалуются на кратковременность жизни, которой-де не хватило на осуществление исполинского замысла.

Я не совсем уверен, можно ли допустить в наше братство игроков. Но поистине глупы и смешны люди, до такой степени пристрастившиеся к игре, что, едва слышат стук костей, сердце у них в груди так и прыгает. Беспреданно обольщаемые надеждой на выигрыш, они натываются со всем кораблем своим на скалу неудачи, не менее страшную, нежели скалы Малеи⁴. Вынырнув нагишом, они готовы бывают надуть кого угодно, но только не прежних своих победителей -- оттого, разумеется, что боятся уронить свое достоинство. И старики, наполовину ослепшие, тоже играют, нацепив на нос очки. У иного хирагрой так скрючило пальцы, что он вынужден нанимать себе помощника, который мечет вместо него кости. Да, сладкая вещь игра, но слишком уж часто переходит она в неистовство, подвластное уже не мне, но фуриям.

ГЛАВА XL

Зато, без всякого сомнения, из нашего теста испечены того сорта люди, которые любят рассказы о ложных знамениях и чудесах и никак не могут досыта наслушаться басен о призраках, лемурах, ларвах¹, выходцах с того света и тому подобной невидальи; и чем более расходятся с истиной эти небылицы, тем охотнее им верят, тем приятнее ласкают они слух. Не для одного препровождения времени рассказываются эти басни -- бывает от них и выгода, особливо священникам и площадным краснобаям. Нужно здесь помянуть и тех, кто внушил себе глупое, но приятное убеждение, будто стоит человеку поглядеть на статую или икону Полифема-Христофора² -- и смерть не грозит ему в тот день; или, что, прочитав перед статуей св. Варвары некую молитву, он воротится цел и невредим с поля боя; или, что, ставя в известные дни свечки св. Эразму, он вскорости делается богачом. Из св. Георгия люди эти создали себе нового Ипполита³ или Геракла, на его коня, благоговейно украшенного драгоценной попоной с кистями, они только что не молятся;

стараясь заслужить его расположение, они то и дело подносят ему подарочки, а медным шлемом святого клянутся даже короли. А что сказать о тех, которые, якобы искупив свои грехи пожертвованием на церковь, безмятежно радуются и измеряют срок своего пребывания в чистилище веками, годами, месяцами, днями, часами -- без малейшей ошибки, словно при помощи клепсидры⁴ или математической таблицы? Что сказать далее о тех, которые верят в волшебные амулеты и наговоры, выдуманные каким-нибудь благочестивым обманщиком для потехи или выгоды ради, и тешат себя надеждами на богатство, почести, наслаждения, избыток во всем, вечно цветущее здоровье, долгую жизнь, бодрую старость и, наконец, место в царствии небесном поближе к самому Христу? Впрочем, попасть туда они рассчитывают возможно позже: когда, мол, пресытятся всеми наслаждениями здешней жизни, тогда и променяют ее на райское блаженство. Судите сами: иной купец, воин или судья, уделив единый грошик из всего награбленного им, верит, что разом обелил скверну своей жизни; все ложные клятвы, грязные похоти, кутежи, драки, убийства, обманы, козни, измены он считает выкупленными и оплаченными, словно по договору, так что при желании в пору бы начать новый круг мерзостей. Можно ли быть глупее, да нет! -- счастливее тех, кто, читая ежедневно семь стишков из священной "Псалтири", сулит себе за то вечное блаженство? Полагают, что названные магические стишки указал св. Бернарду некий демон, весьма красноречивый, что и говорить, но вместе с тем скорее легкомысленный, чем хитрый, а потому и попавший впросак⁵. Все это настолько глупо, что даже я готова устыдиться, и, однако, этому верят не только грубые мужики, но и наставники церкви. Вполне уместно будет сказать и о том, что каждая область заявляет притязания на своего особого святого; каждый чествуются особыми обрядами, каждому из них приписываются особые способности: один исцеляет от зубной боли, другой искусно помогает роженицам, третий возвращает украденные вещи, этот спасает при кораблекрушении, тот охраняет стада, и так далее в том же роде. Перечислять всех подряд было бы слишком долго. Существуют также святые, оказывающие помощь во всех случаях жизни, такова в особенности богородица-дева, которую простой народ чтит даже более, чем ее сына.

ГЛАВА XLІ

Но разве просят люди у всех этих святых чего-нибудь, не имеющего отношения к глупости? Взгляните на благодарственные приношения, которыми стены иных храмов украшены вплоть до самой кровли, -- увидите ли вы среди них хоть одно пожертвование за избавление от глупости, за то, что приноситель стал чуть-чуть умнее бревна? Один тонул, но выплыл. Другой был ранен врагом, но выжил. Третий удрал столь же доблестно, сколь счастливо, с поля битвы, в то время как другие продолжали сражаться. Четвертый был вздернут на виселицу, но при помощи некоего святого, покровителя воров, сорвался и ныне продолжает с успехом облегчать карманы богатеев, обремененные деньгами. Пятый бежал, проломав стену тюрьмы. Шестой, к негодованию своего врача, исцелился от лихорадки. Седьмой хлебнул яду, но не умер, а только прочистил желудок на горе своей супруге, которая впустую потрудилась и потратилась. У восьмого опрокинулась повозка, но кони вернулись домой невредимые. На девятого обрушилась кровля, но он остался цел. Десятый, застигнутый мужем на месте преступления, счастливо спасся. Но никто не благодарит за избавление от глупости. Так сладко ни о чем не думать, что от всего откажутся люди, только не от Мории. Но к чему пускаться в это море суеверий?

*Если б имела я сто языков и железное горло,
То и тогда б не могла дураков породу исчислить
И описать до конца многовидные глупости формы¹.*

Вся жизнь христиан до краев переполнена подобными безумствами, а священнослужители не только терпят их, но и поощряют, ибо знают отлично, как это увеличивает их доходы. Теперь представьте, что вдруг появляется среди нас несносный некий мудрец и начинает проповедовать: "Ты не погибнешь, если станешь жить праведно; грехи твои простятся тебе, если к пожертвованной лепте ты присовокупишь ненависть к злым делам, слезы, бдения, молитвы, посты -- словом, все переменишь в твоей жизни. Святой этот станет тебе покровительствовать, если ты решишься ему подражать".

Если бы, говорю я, такой мудрец взялся неотступно бубнить свои поучения, сами можете себе представить, в какую смуту вверх бы он души людские, прежде утопавшие в блаженстве!..

К нашему братству принадлежат и те, кто еще при жизни усердно хлопочет о собственных похоронах, подробно указывает, сколько факелов, сколько праздных зевак в трауре, сколько певчих и сколько наемных плакальщицков должны сопроводить его тело, как будто он сам сможет любоваться на это зрелище или будет сконфужен, ежели труп предадут земле без надлежащей пышности. Право, эти люди хлопочут так, словно их избрали эдилами для устройства народных игрищ и угощения².

ГЛАВА XLII

Как ни тороплюсь я, не могу, однако, обойти молчанием тех, которые хоть и не отличаются ничем от последнего поденщика, однако кичатся благородством своего происхождения. Один ведет свой род от Энея, другой -- от Брута, третий -- от Артура¹. Повсюду выставляют они скульптурные и живописные изображения своих предков, исчисляют прадедов и пращуров, вспоминают старинные фамильные прозвища, а ведь сами недалеко ушли от бессловесных истуканов. Это, впрочем, не мешает им чувствовать себя как нельзя лучше -- при любезном содействии Филавтии. Но еще находятся дураки, готовые приравнять этих родовитых скотов к богам!

Зачем, впрочем, говорю я о том или ином виде тщеславных и блаженных глупцов, когда Филавтия создает счастливых повсюду и самым чудесным образом? Иной уродливее обезьяны, а самому себе кажется Ниреем. Другой, проведя кое-как при помощи циркуля три кривых линии, мнит себя Эвклидом. Этот в музыке -- что *осел, играющий на лире*, и поет не лучше курицы, которую оседлал петух, а воображает себя вторым Гермогеном². А вот еще один, без всякого сомнения приятнейший род помешательства, -- когда господа тщеславятся дарованиями своих слуг, словно своими собственными. Таков, например, был трижды счастливый богач, описанный Сенекой: желал он рассказать забавную историю -- к его услугам были рабы, подсказывавшие ему все, чего он сам не упомянул, и хотя сам был так хил и бессилён, что едва душа держалась, он не боялся участвовать в кулачных боях, полагаясь на силу своих многочисленных слуг.

Нужно ли поминать здесь служителей свободных искусств? Им всем так близка Филавтия, что иной скорей откажется от отеческого достоинства, нежели признает себя лишенным таланта; таковы в особенности актеры, певцы, ораторы и поэты, из коих кто невежественнее других, тот и наглее в своем самомнении, громче хвастается, больше пыжится. Но на всякий товар свой купец найдется, и, мало того, чем бездарней такой человек, тем больше у него почитателей;

самая низкопробная дрянь всегда приводит толпу в восхищение, ибо значительное большинство людей, как уже сказано, заражено глупостью. Невежда и сам собою доволен, и другие им восторгаются, так зачем же стремиться к истинной учености, добываемой великими трудами, приносящей с собою робость и застенчивость и, наконец, ценимой столь немногими?!

ГЛАВА XLIII

Но природа не только каждого смертного одарила личным тщеславием -- она постаралась снабдить народы и даже отдельные города некоей общей Филавтией. Поэтому британцы заявляют исключительные притязания на телесную красоту, музыкальное искусство и хороший стол. Шотландцы тешатся своим благородством и родством с королями, а также тонкостью ума. Французы только себе приписывают приятную обходительность. Парижане уверены, будто они превыше всех стоят в науке богословия. Итальянцы присвоили себе первенство в изящной литературе и красноречии, а посему пребывают в таком сладостном обольщении, что из всех смертных единственно лишь себя не почитают варварами. Этой блаженной мыслью более всех проникнуты римляне, которым доселе сняты приятные сны о древнем Риме. Венецианцы счастливы сознанием своего знатного происхождения. Греки мнят себя творцами всех наук и приписывают себе достохвальные деяния древних героев. Турки, это скопище настоящих варваров, притязают на обладание единственно истинной религией и смеются над суеверием христиан. Но куда слаще самообольщение иудеев, которые доселе упорно ждут своего Мессию и цепко держатся за Моисея. Испанцы никому не согласны уступить в том, что касается воинской славы, Немцы бахвалятся высоким ростом и знанием магии.

ГЛАВА XLIV

Полагаю, что вам и без дальнейших подробностей должно быть ясно, сколь великую отраду доставляет и отдельным смертным и всему человечеству вообще моя Филавтия, с которой весьма схожа ее сестра -- Лесть. В самом деле, Филавтия есть не что иное, как самообольщение. Лести другому, и это будет *Колакия*. В наши дни лесть почитается чем-то постыдным, но так судят лишь те, для которых названия вещей имеют больше значения, нежели самые вещи. Они полагают, что лесть несовместима с верностью; но они заблуждаются -- даже животные служат примером обратного. Кто лстивее пса? И кто его вернее? Найдется ли животное ласковее белки, и кто так легко, как она, становится другом человека? Или, быть может, для совместной жизни с людьми более пригодны суровые львы, свирепые тигры, неистовые леопарды? Есть, правда, и пагубный вид лести, при помощи которого иные коварные насмешники доводят несчастных до гибели. Но моя *Колакия* рождается от добродушия и простосердечия и более сходствует с добродетелью, нежели противные ей суровость и угрюмство, столь несносные и докучливые, по слову Горациеву. Она ободряет упавших духом, увеселяет печальных, поднимает расслабленных, будит оцепенелых, больных исцеляет, свирепых умягчает, любящих сблизжает, а сблизив, удерживает в единении. Она побуждает отроков к усвоению наук, веселит старцев; под видом похвал и без обиды увещевает и научает государей. В общем, благодаря ей каждый становится приятнее и милее самому себе, а ведь

в этом и состоит наивысшее счастье. Поглядите, как услужливо два мула почесывают друг другу спины. Не в этом ли состоит главная задача красноречия, еще в большей степени медицины и всего более поэзии? Лесть -- это мед и приправа во всяком общении между людьми.

ГЛАВА XLV

Но ведь заблуждаться -- это несчастье, говорят мне; напротив, не заблуждаться -- вот величайшее из несчастий! Весьма неразумны те, которые полагают, будто в самих вещах заключается людское счастье. Счастье зависит от нашего мнения о вещах, ибо в жизни человеческой все так неясно и так сложно, что здесь ничего нельзя знать наверное, как справедливо утверждают мои академики¹, наименее притязательные среди философов. А если знание порой и возможно, то оно нередко отнимает радость жизни. Так уж устроена человеческая душа, что более прельщается обманами, нежели истиною. Ежели кто потребует от меня наглядных и убедительных примеров, я посоветую ему посетить храм или общественное собрание. Когда речь ведется о предметах важных, все спят, зевают и томятся. Но стоит только орущему (виновата, я хотела сказать--ораторствующему) рассказать какую-нибудь дурацкую, смешную историю (а это случается нередко), все оживляются, подбадриваются, навостряют уши. Равным образом, чем больше поэтических выдумок вокруг святого, как, например, вокруг Георгия, Христофора или Варвары, тем усерднее ему поклоняются, не то что Петру, Павлу или даже самому Христу. Впрочем, здесь не место говорить об этом.

Итак, счастье зависит не от самих вещей, но от того мнения, которое мы о них составили. К вещам доступ труден, даже к самым легким, вроде грамматики, а мнения усваиваются легко и просто, и их одних- с избытком хватает для достижения счастья. Поглядите-ка на этого обжору, уписывающего гнилую солонину; иной запаха ее не стерпел бы, а ему она представляется амброзией -- так чего же недостает ему для полного блаженства? И напротив, ежели кого тошнит от осетра, то что ему за радость в этом ястве? Если супруга до крайности безобразна, но мужу своему кажется достойной соперницей Венеры, то не все ли это равно, как если бы она была воистину красавицей? Ежеликто, любясь картиною, написанной негодным маляром, дивится ей, считая созданием Зевксида или Апеллеса², не блаженнее ли он того, кто, купив за дорогую цену творения этих мастеров, быть может, гораздо меньше будет наслаждаться их созерцанием? Знаю я одного человека моего соименника³, который подарил своей молодой жене поддельные дорогие камни, но при этом сумел уверить ее, будто они настоящие, подлинные, воистину единственные в своем роде, так что даже цены не имеют. Спрашивается: не все ли равно было этой девчонке -- тешить глаза свои и душу стекляшками или хранить в ларце под замком действительно несравненное сокровище? А супруг между тем и расходов избег и жене своей обманутой угодил не меньше, чем если бы преподнес ей богатый подарок. Что скажете вы об узниках Платоновой пещеры, дивящихся теням и подобиям вещей и довольствующимся этим зрелищем? Не счастливее ли они того мудреца, который, выйдя из пещеры, созерцает самые вещи? ⁴ Лукианов Микилл, видевший себя во сне богачом, не пожелал бы себе иного блаженства, если б дано ему было вечно грезить⁵. Итак, либо нет никакой разницы между мудрецами и дураками, либо положение дураков не в пример выгоднее. Во-первых, их счастье, покоящееся на обмане или самообмане, достается им гораздо дешевле, а во-вторых, они могут разделить свое счастье с

большинством других людей.

ГЛАВА XLVI

Далее известно, что никакие житейские блага не будут нам приятны, ежели мы пользуемся ими одни, без товарищей. Но каждый знает и другое: если существуют на свете мудрецы, то лишь в самом малом числе. З^я столько веков греки насчитали их всего семь, да и то, клянусь Гераклом, ежели перетряхнуть хорошенько этих семерых, то -- помереть мне на этом самом месте -- не найдется среди них даже половины настоящего мудреца, а пожалуй, так и одной трети. Много похвал воздают Вакху, но особенно славят его за то, что он снимает с души всякие заботы, -- впрочем, лишь на самое малое время: как проспиться с похмелья, тотчас словно на четверке подкатывают к тебе тяжелые думы. Сколь полнее и прочнее моя благостыня, ибо я вечным опьянением ублажаю и веселю душу, и притом без всяких хлопот! Сверх того, я наделяю моими дарами всех смертных без изъятия, тогда как щедроты прочих богов распределяются отнюдь не поровну. Далеко не во всех землях рождается благородное, тонкое вино, прогоняющее заботы и вливающее в сердце безграничную надежду. Редко кому достается в удел красота, милостиво ниспосланная Венерой, еще реже -- красноречие, дар Меркурия. Лишь немногим удалось обогатиться при помощи Геракла. Не каждому дает власть Гомеров Юпитер. Марс сплошь да рядом отказывает в своем благоволении обоим сражающимся воинствам. Сколь многие печально обращаются вспять от треножника Аполлонова. Сын Сатурнов часто мечет молнии на Землю, а Феб посылает чуму своими стрелами. Нептун больше губит людей, нежели спасает. Лишь мимоходом упомяну здесь о Вейовисах, Плутонах, Атах, Пенах, Фебрах¹ и прочих -- не богах, а палачах. Единственно я, Глупость, всех равно и с такой готовностью жалую моей благостыней.

ГЛАВА XLVII

Я не требую даров и обетов, не гневаюсь и не жду искупительных приношений, ежели в обряд вкралась какая погрешность. Я не переворачиваю вверх дном небо и землю, когда прочих богов приглашают обонять благоволие жертв, а меня забывают, и я остаюсь дома. Между тем другие боги отличаются в этих делах столь великою строгостью, что лучше и безопаснее даже и не вспоминать о них, нежели служить им. Таковы же и многие люди, столь капризные и чувствительные к обидам, что лучше с ними вовсе не знаясь, нежели дружить. Но, скажут мне, ведь никто не приносит жертв Глупости, никто не воздвигает ей храмов. Я уже говорила, что дивлюсь подобной неблагодарности. Впрочем, по снисходительности моей, я смотрю на это добродушно, да, по правде говоря, совсем и не желаю, чтоб мне служили, как прочим богам. Чего ради стану я требовать ладана или муки, козленка или борова, когда смертные всякого рода и звания и без того правят мой обряд при полном одобрении богословов? Разве что Диане позавидовать, которую потчуют человеческой кровью? Я полагаю, что мне служат с великим благоговением, ибо всегда и всюду носят меня в своих сердцах и подражают мне в жизни. Такое почитание святых не часто встретишь и среди христиан. Как много людей возжигают свечи богородице даже среди бела дня, когда в том нет никакой

нужды! Но сколь малое число их стремится подражать ей чистотою жизни, кротостью и любовью ко всему небесному. А ведь в этом-то и состоит истинное, самое отрадное для небожителей служение. Зачем мне храмы, когда весь круг земной -- мой храм, прекраснее которого, по-моему, ничего быть не может. Таинства мои не останутся без причастников, доколе существуют люди. Я не так глупа, чтобы домогаться икон и статуй -- они нередко вредят чистоте культа, ибо дураки и тупицы чтут иконы усерднее, чем изображенных на них святых, а тем временем мы, боги, терпим то же, что священник, которого выгоняет из прихода его же викарий. Я считаю, что мне воздвигнуто столько статуй, сколько есть на свете людей, воспроизводящих вживе мой образ, хотя бы и вопреки своей воле. Итак, нечего мне завидовать прочим богам, если иные из них в определенные дни чтутся в том или ином уголке земли, например Феб на Родосе, Венера на Кипре, Юнона в Аргосе, Минерва в Афинах, Юпитер на Олимпе, Нептун в Таренте, Приап в Лампсаке, ибо мне весь мир усердно и непрерывно приносит несравненно лучшие жертвы.

ГЛАВА XLVIII

Иному из вас, быть может, покажется, что в словах моих больше дерзости, нежели правды, но приглядимся чуть повнимательнее к жизни людской -- и тотчас увидим, сколь многие у меня в долгу, как усердно чтут меня и великие и малые мира сего. Я не стану разбирать здесь одно за другим все состояния и сословия, -- это было бы слишком долго, -- а буду говорить лишь о тех, кто поважней; об остальных вы легко и сами рассудите. В самом деле, к чему заниматься чернью, которая, без всякого сомнения, вся целиком мне подвластна? Люди простого звания сообщают глупости столь разнообразные формы, они ежедневно изобретают по этой части такие новшества, что для осмеяния их не хватило бы и тысячи Демокритов, тем более что самим Демокритам этим понадобился бы новый Демокрит.

Вы не поверите, какое развлечение, какую потеху, какое удовольствие доставляют ежедневно людишки богам! Трезвые предполуденные часы боги привыкли посвящать выслушиванию людских споров и обетов, но когда, хлебнув нектара, они теряют охоту к предметам важным, то забираются повыше на небо и оттуда глядят вниз. Нет зрелища приятнее! Боже бессмертный, что за представление эта шутовская возня глупцов! (Я и сама люблю посидеть здесь в одном ряду с богами поэзии.) Вот человек, который сохнет по какой-нибудь бабенке и тем сильнее влюбляется, чем меньше встречает взаимности. Вот другой берет себе приданое, а не жену. Один посылает на блуд собственную невесту; другой ревниво, как Аргус, следит за нею. Этот, по случаю траура, каких только глупостей не говорит и не делает! Призывает, например, наемных лицедеев, чтобы они изобразили в лицах его печаль. Тот плачет над могилою мачехи. Этот пихает себе в глотку все, что только удастся раздобыть, хотя, быть может, вскоре ему придется голодать. Этот ничего не знает приятнее сна и досуга. Есть и такие, которые вечно шумят и волнуются по поводу чужих дел, своими же пренебрегают. Иной -- весь в долгах, накануне разорения, а мнит себя богачем. Для другого нет высшего блаженства, как жить всю жизнь в нищете, лишь бы наследнику досталось побольше. Этот ради малой и неверной прибыли рыщет по морю, вверяя волнам и ветрам свою жизнь, которую нельзя купить ни за какие деньги. Другой предпочитает искать сокровищ на войне, вместо того чтобы дома наслаждаться покоем и безопасностью. Найдутся и такие, которые удобнейший путь к обогащению видят в том, чтобы подольститься к одиноким старичкам, в то время как иные, стремясь к той же цели, обольщают

богатых старушек. Какая потеха для богов-зрителей, когда и те и другие бывают одурачены теми, кого хотели надуть.

Но глупее и гаже всех купеческая порода, ибо купцы ставят себе самую гнусную цель и достигают ее наигнуснейшими средствами: вечно лгут, божатся, воруют, жульничают, надувают и при всем том мнят себя первыми людьми в мире потому только, что пальцы их украшены золотыми перстнями. Вертятся вокруг них льстивые братцы-монахи, которые ими восхищаются, громко именуют их достопочтенными, в надежде получить малую толику от несправедливо нажитых богатств. Зато в другом месте увидишь подчас неких пифагорейцев, которым все блага земные представляются до того общими, что они все лежащее без охраны тащат с легким сердцем, словно законное наследство получили'. Немало и таких, что богаты лишь в мечтах: услаждаясь приятными снами, они бывают вполне довольны и счастливы. Иные на людях разыгрывают богачей, а дома усердно постыжтся. Один расточает все, что имеет, другой приумножает правдами и неправдами. Этот домогается у народа почетной должности, тот сидит весь век у себя за печкой. Многие ведут нескончаемые тяжбы, наперебой обогащая судью-волокичка и его пособника -- адвоката. Одинзамышляетгосударственный переворот, другой лелеет честолюбивые замыслы. Иной отправляется в Иерусалим, Рим или Сант-Яго², где нет у него никакого дела, а дома покидает жену и ребят... В общем, ежели поглядеть с луны, по примеру Мениппа³, на людскую сутолоку, то можно подумать, будто видишь стаю мух или комаров, дерущихся, воюющих, интригующих, грабящих, обманывающих, блудящих, рождающихся, падающих, умирающих. Нельзя и представить себе, сколько движения, сколько трагедий в жизни этих недолговечных тварей, ибо сплошь да рядом военная буря или чума губит и уничтожает их целыми тысячами.

ГЛАВА XLIX

Но я сама была бы всех глупее и вполне достойна того, чтобы Демокрит хохотал надо мной во все горло, если бы вздумала исчислять здесь все разновидности глупости и безумства, существующие в народе. Обращаюсь поэтому к тем, которые почитаются у смертных За мудрецов и держат, как говорится, златую ветвь в руках¹. Среди них первое место занимают грамматикники -- порода людей, несчастнее которой, злополучнее и ненавистнее богам не было бы на свете, если б я в своем 4 милосердии не скрашивала тягот их ремесла неким сладким безумием. Не *пяти проклятиям*, о которых гласит греческая эпиграмма², они обречены, но целой тысяче, ибо вечно они голодны, грязны и проводят всю жизнь свою в училищах, -- "в училищах" сказала я? -- нет, в *размышляльнях*³, или, вернее, на мельницах, в застенках для пыток; окруженные толпами мальчишек, они преждевременно стареют от непосильных трудов, глохнут от криков, чахнут от грязи и смрада и, однако, по моей милости, мнят себя первыми среди смертных. Чрезвычайно собой довольные, они устрашают робкую стаю ребятишек своим грозным видом и голосом; они полосуют бедняжек прутьями, розгами, плетью и свирепствуют, по своему благоусмотрению, на все лады, точь-в-точь как известный кумский осел⁴. Зато грязь представляется им чистотой, смрад -- майорановым благовонием, а собственное жалкое рабство -- царственной властью, так что тирании своей они не променяли бы на могущество Фаларида или Дионисия⁵.

Но особенно счастливы они сознанием своей необычайной учености. Они пичкают мальчуганов всякою чушью, и, однако, боги великие, где тот Палемон или Донат⁶, на которого они не глядели бы с презрением! При помощи какого-то неведомого колдовства они ухитряются внушить глупеньким матушкам и отцам-идиотам то же высокое понятие о себе, какого сами придерживаются. Присовокупите сюда удовольствие отыскать иной раз на

полуистлевшем листе имя матери Анхиза⁷ или какое-нибудь полузабытое словечко, например, "меево", "жуа" или "должея", или выкопать где-нибудь обломок древнего камня с полустертой надписью. О, Юпитер, какой поднимается тогда шум, какое ликование, какие хвалы -- можно подумать, что человек Африку покорил или овладел Вавилоном! Иной, читая повсюду свои холодные, вялые вирши и находя дураков, готовых восхищаться, начинает верить, будто душа самого Вергилия Марона вселилась в его грудь. Но забавнее всего наблюдать, как они на началах взаимности прославляют и восхваляют друг друга и почесывают один другому за ушами. Зато, случись им уличить в ошибке, хотя бы и самой пустячной, кого-нибудь из посторонних -- *Геракл великий!* -- какая тотчас разыгрывается трагедия, какие поднимутся споры, какая брань посыплется, какие оскорбления! Пусть возненавидят меня все грамматиканы, ежели я лгу. Знакома я с одним *ученейшим, мужем, эллинистом, латинистом, математиком, философом, медиком, настоящим царем всех наук*, человеком уже лет шестидесяти, который, позабыв все на свете, уже лет двадцать корпит и мучается над грамматикой, утешая себя надеждой дожить до того счастливого дня, когда он научится безошибочно различать все восемь частей речи, чего, как известно, не мог вполне достигнуть ни один из эллинистов и латинистов. Как будто стоит заводить войну, ежели кто примет иной раз союз за наречие! К тому же грамматик у нас не меньше, чем грамматиков, и даже больше, -- ибо один мой милый Альд⁸ издал их целых пять, -- и вот старик не пропускает ни одной грамматиканы, даже самой невежественной и нелепой, не изучив и не прозубрив ее от доски до доски. На каждого глядит он с подозрением, жалко трусит, как бы кто не похитил у него вожделенную славу, как бы не пропали усилия стольких лет понапрасну. Назовете вы это безумием или глупостью -- мне все равно. Признайтесь только, что по моей милости жалчайшая из тварей наслаждается таким блаженством, что не захочет поменяться своей участью даже с персидскими царями.

ГЛАВА I

Значительно менее обязаны мне поэты, хотя по свойству своего ремесла целиком принадлежат к моей партии. Ведь поэты, как говорит пословица, -- вольный народ, все дело которого в том и состоит, чтобы ласкать уши глупцов разной чушью и нелепыми баснями. И, однако, своим празднословием они не только сами надеются купить бессмертие и вживе уподобиться богам, но и другим то же сулят. *Филавтия и Кола-кия* водят дружбу с этим сословием более, чем с каким-либо другим, и вообще нет у меня поклонников постояннее и вернее.

Далее следуют риторы, которые хотя и блудят иногда, заигрывая с философами, но все-таки тоже принадлежат к нашей партии, о чем свидетельствует и то обстоятельство, что они, среди прочего вздора, усердно и подробно описали, как должно шутить. Не напрасно автор послания Гереннию "Об искусстве речи"¹ --кто бы он ни был -- называет глупость одной из разновидностей шутки. У Квинтилиана², истинного царя всего этого сословия, также есть глава о смехе -- более пространная, нежели "Илиада". Ораторы столь высоко ценят глупость, что нередко при отсутствии доводов отыгрываются на смехе. А искусство вызывать хохот смешными словами, несомненно, подлежит ведению Глупости.

Из того же теста испечены и те, кто рассчитывает стяжать бессмертную славу, выпуская в свет книги. Все они очень многим мне обязаны, в особенности же те, которые марают бумагу разной чушью, ибо, кто пишет

по-ученому и ждет приговора немногих знатоков, не опасаясь даже таких судей, как Персии и Лелий³, тот кажется мне достойным скорее сожаления, чем зависти. Поглядите, как мучаются такие люди: прибавляют, изменяют, вычеркивают, переставляют, переделывают заново, показывают друзьям, затем, лет эдак через девять, печатают, все еще недовольные собственным трудом, и покупают ценой стольких бдений (а сон всего слаще), стольких жертв и стольких мук лишь ничтожную награду в виде одобрения нескольких тонких ценителей. Прибавьте к этому расстроенное здоровье, увядшую красоту, близорукость, а то и совершенную слепоту, бедность, завистливость, воздержание, раннюю старость, преждевременную кончину, да всего и не перечислишь. И наш мудролюб мнит себя вознагражденным за все эти тяготы, ежели похвалят его два-три таких же ученых слепца. Напротив, сколь счастлив сочинитель, послушный моим внушениям: он не станет корпеть по ночам, он записывает все, что ему взбредет на ум и окажется на кончике пера, хотя бы даже собственные свои сны, ничем не рискуя, кроме нескольких грошей, истраченных на бумагу, и зная заранее, что чем больше будет вздора в его писаниях, тем вернее угодит он большинству, то есть всем дуракам и невеждам. Что ему за дело, ежели два-три ученых, случайно прочитавших его книгу, отнесутся к нему с презрением? Что значит голос немногих умных людей в этой огромной и шумной толпе? Но еще смышленее те, которые под видом своего издают чужое, присваивая себе славу чужих трудов, в той надежде, что если и уличат их когда-нибудь в литературном воровстве, то все же в течение некоторого времени они смогут пользоваться выгодами от своей проделки. Стоит посмотреть, с каким самодовольством они выступают, когда слышат похвалы себе, когда в толпе на них указывают пальцами -- *это мол такой-то, знаменитость*, когда видят они свои книги в книжных лавках и читают на каждой странице свое имя, сопровождаемое двумя прозвищами, по большей части чужеземными и похожими на магические заклинания. Но, боже бессмертный, ведь это всего только имена, не более! И затем: сколь немногим станут они известны, если вспомнить о широте и необъятности мира; и уж совсем ничтожно число тех, которые отзовутся о них с похвалой, каким бы разнообразием ни отличались вкусы невежд. К тому же сами эти имена нередко выдуманы или заимствованы из старинных книг. Так, один тщеславится именем Телемаха⁴, другой -- Стелена⁵ или Лаэрта⁶, этот -- Поликрата, тот -- Фразимаха⁷. С тем же успехом иной мог бы назваться Хамелеоном или Тыквой, либо обозначить свои книги по обычаю философов буквами альфа, бета и т. д. Но всего забавнее, когда глупцы начинают восхвалять глупцов, невежды -- невежд, когда они взаимно прославляют друг друга в льстивых посланиях, стихах и панегириках. Один производит своего приятеля в Алкея, другой -- в Каллимаха⁸, это! превыше Цицерона, тот учнее Платона. Иные ищут себе соперников, дабы соревнованием умножить собственную славу.

Так в ожиданье народ колеблется, делятся мненья⁹, пока бойцы, довольные своими успехами, не разойдутся с победоносным видом, и каждый чувствует себя триумфатором. Мудрецы смеются над ними, как над величайшими глупцами. Нет спору, это воистину глупо. Но зато, по моей милости, живут эти люди в свое удовольствие и не променяют своих побед даже на Сципионовы триумфы¹⁰. Впрочем, и сами ученые, которые так охотно потешаются над чужой глупостью, немало мне обязаны, чего отрицать не посмеют, если только не захотят прослыть самыми неблагодарными из смертных.

ГЛАВА LI

Между учеными юристы притязают на первое место и отличаются наивысшим самодовольством, а тем временем усердно катят Сизифов камень¹, единым духом цитируют сотни законов, нисколько не заботясь о том, имеют ли они хоть малейшее отношение к делу, громоздят глоссы на глоссы², толкования на толкования, дабы работа их казалась наитруднейшей из всех. Ибо, на их взгляд, чем больше труда, тем больше и славы.

К ним должно присовокупить также диалектиков и софистов -- породу людей говорливую, словно медь До-донская³, каждый из них в болтовне не уступит и двум десяткам отборных кумушек. Впрочем, они были бы несравненно счастливее, если б словоохотливость не соединялась в них с чрезвычайной сварливостью: то и дело заводят они друг с другом ожесточенные споры из-за выеденного яйца и в жару словопрений по большей части упускают из виду истину. И, однако, Филавтия щедро одаряет их блаженством, и, заучив два-три силлогизма, они, не колеблясь, вступают в бой с кем угодно по любому поводу. В упрямстве своем они непобедимы, если даже противопоставить им самого Стентора⁴.

ГЛАВА LII

За ними следуют философы, почитаемые за длинную бороду и широкий плащ, которые себя одних полагают мудрыми, всех же прочих смертных мнят блуждающими во мраке. Сколь сладостно бредят они, воздвигая бесчисленные миры, исчисляя размеры солнца, звезд, луны и орбит, словно измерили их собственной пядью и бечевкой; они толкуют о причинах молний, ветров, затмений и прочих необъяснимых явлений и никогда ни в чем не сомневаются, как будто посвящены во все тайны природы-зихдительницы и только что воротились с совета богов. А ведь природа посмеивается свысока над всеми их догадками, и нет в их науке ничего достоверного. Тому лучшее доказательство -- их нескончаемые споры друг с другом. Ничего в действительности не зная, они воображают, будто познали все и вся, а между тем даже самих себя не в силах познать и часто по близорукости или по рассеянности не замечают ям и камней у себя под ногами. Это" однако, не мешает им объявлять, что они, мол, созерцают идеи, универсалии¹, формы, отделенные от вещей, первичную материю, сущности, особливости и тому подобные предметы, до такой степени тонкие, что сам Линкей, как я полагаю, не смог бы их заметить. А с каким презрением взирают они на простаков, нагромождая один на другой треугольники, окружности, квадраты и другие математические фигуры, сотворяя из них некое подобие лабиринта, огражденного со всех сторон рядами букв, словно воинским строем, и пуская таким образом пыль в глаза людям несведущим. Есть среди них и такие, что предсказывают будущее по течению звезд, сулят чудеса, какие даже и магам не снились, и, на счастье свое, находят людей, которые всему этому верят.

ГЛАВА LIII

Что до богословов, то не лучше ли обойти их молчанием, *не трогать болота Камаринского*¹, не прикасаться к этому ядовитому растению? Люди этой породы весьма спесивы и раздражительны -- того и гляди, набросятся на меня с

сотнями своих конклюдий² и потребуют, чтобы я отреклась от своих слов, а в противном случае вмиг объявят меня еретичкой. Они ведь привыкли страшать этими громами всякого, кто им не угоден. Хотя богословы не слишком-то охотно признают мои благодеяния, однако и они у меня в долгу, и в не малом долгу: обольщаемые Филавтией, они мнят себя небожителями, а на прочих смертных глядят с презрением и какой-то жалостью, словно на копошащийся в грязи скот. Окруженные, будто воинским строем, магистральными дефинициями, конклюдиями, короллариями, очевидными и подразумеваемыми пропозициями³, стали они нынче до того *увертливые*, что не изловишь их и Вулкановыми силками⁴ -- с помощью своих "расчленений" и диковинных, только что придуманных словечек они выскользнут откуда угодно и разрубят всякий узел быстрее, чем Тенедосской секирой⁵. По своему произволу они толкуют и объясняют сокровеннейшие тайны: им известно, по какому плану создан и устроен мир, какими путями передается потомству язва первородного греха, каким способом, какой мерой и в какое время зачат был предвечный Христос в ложе снах девы, в каком смысле должно понимать пресуществление, совершающееся при евхаристии⁶. Но это еще всем известные и избитые вопросы, а вот другие, воистину достойные, по их мнению, знаменитых и великих теологов (они немедленно оживляются, едва речь пойдет о чем-нибудь подобном): в какой именно миг совершилось божественное рождение? Является ли сыновство Христа однократным или многократным? Возможно ли предположение, будто бог-отец возненавидел сына? Может ли бог превратиться в женщину, дьявола, осла, тыкву или камень? А если бы он действительно превратился в тыкву, могла ли бы эта тыква проповедовать, творить чудеса, принять крестную муку? Что случилось бы, если бы св. Петр отслужил обедню в то время, когда тело Христово висело на кресте? Можно ли сказать, что Христос еще оставался тогда человеком? Позволено ли будет есть и пить после воскресения плоти (эти господа заранее хотят обеспечить себя от голода и жажды на том свете)?

Существует бесчисленное множество еще более изощренных *тонкостей* касательно понятий, отношений, форм, сущностей и особенностей, которых никто не сможет различить простым глазом, разве что Линкей, способный увидеть в полном мраке то, чего нет нигде. Прибавьте к этому так называемые *гномы*⁷, до такой степени *головоломные*, что парадоксы стоиков могут показаться рядом с ними общедоступными, ходячими истинами. Так, например, одна из этих гном гласит, что зарезать тысячу человек -- не столь тяжкое преступление, как починить бедняку башмак в воскресный день, и что лучше допустить гибель мира со всеми, как говорится, его потрохами, нежели произнести малейшую ложь. Все эти архикурацкие тонкости делаются еще глупее из-за множества направлений, существующих среди схоластиков, так что легче выбраться из лабиринта, чем из сетей реалистов, номиналистов, фомистов, альбертистов, оккамистов, скотистов⁸ и прочих (я называю здесь не все их секты, но лишь самые главные). Во всем этом столько учености и столько трудностей, что, я полагаю, самим апостолам потребовалась бы помощь некоего отнюдь не святого духа, если б им пришлось вступить в спор с новейшими нашими богословами. Павел делами засвидетельствовал свою веру, но вместе с тем дал ей недостаточно магистральное определение, сказав: "Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом"⁹. Равным образом, преуспевая в милосердии, он не сумел диалектически расчленив и точно ограничить понятие милосердия в XIII главе "Первого послания к Коринфянам". Как ни благочестиво совершали апостолы евхаристию, но если бы расспросить их по порядку, с самого начала и до конца, о пресуществлении, о том, каким образом тело Христово может одновременно находиться в различных местах, об особенностях названного тела на небесах, на кресте и в таинстве евхаристии; если далее спросить их о том, в какой именно момент совершается пресуществление, поскольку слова, его вызывающие, произносятся в течение

некоторого промежутка времени, то, я полагаю, апостолы вряд ли ответили бы с такой точностью и остротой, с какой отвечают и предлагают свои определения скотиды. Апостолы знали мать Иисуса, но кто из них, по примеру наших теологов, философски изъяснил, каким образом оказалась она свободной от Адамова греха?¹⁰ Петр получил ключи райские от того, чей выбор не мог быть недостойным, и, однако, я не уверена, уразумел бы Петр, каким образом можно держать в своих руках ключи от знания, не обладая самым знанием, или нет (сокровенных же тонкостей этого рассуждения он бы все равно не постиг). Апостолы многих окрестили и, однако, ни разу не обмолвились ни единым словом о том, какова формальная, материальная, действующая и конечная причина крещения и в чем состоит его изгладимый или неизгладимый характер. Они молились, но молились в духе, следуя единственно лишь слову евангельскому: "Бог есть дух, и поклоняться ему должно в духе и истине"¹¹. Им, по-видимому, не было открыто, что образку, начертанному углем на дощечке, надлежит молиться с тем же благоговением, что самому Христу, ежели только спаситель представлен с двумя вытянутыми перстами, с нестриженными волосами и с тремя выступами на нимбе, окружающем голову. Да и кто мог бы постичь это, не просидев тридцать шесть лет над физикой и метафизикой Аристотеля и Дунса Скота? Надеялись и благодатью апостолы, но никогда не делали подобающего различия между благодатью благоданной и благодатью благодательной. Увещевали они творить добрые дела, но не замечали разницы между просто добрым делом, добрым делом действенным и добрым делом деемым. Повсюду внушали они христианскую любовь, но не отделяли любви внедренной от любви приобретенной и не объясняли, является ли любовь акциденцией или субстанцией¹², вещью созданной или несозданной. Ненавидели апостолы грех, но -- помереть мне на этом самом месте, ежели, не пройдя обучения у скотистов, могли они дать научное определение того, что есть грех. Никто не убедит меня, будто Павел, превосходивший ученостью остальных апостолов, позволил бы себе столько раз осуждать состязания, прекословия, родословия и прочие, как он выражается, *словопрения*, будь он посвящен во все ухищрения диалектики. Здесь и то еще надо принять в расчет, что все диспуты того времени были очень грубы и незатейливы сравнительно с более чем Хрисипповыми тонкостями¹³ наших нынешних докторов богословия. Но поскольку названные доктора -- люди весьма скромные, то, встречая у апостолов в писаниях что-либо нелепое или недостаточно ученое, они не осуждают этих мест, но сообщают им пристойное толкование. Они неизменно воздают должное древности писаний и имени апостольскому. Да и вообще, клянусь Гераклом, весьма несправедливо было бы требовать от апостолов объяснения таких вещей, относительно которых ни единого слова не слышали они от своего учителя. Когда же подобные места попадают у Златоуста, Василия¹⁴ или Иеронима, то богословы наши ограничиваются тем, что приписывают на полях: "В рассуждение не принимается". Если апостолы и отцы церкви умудрялись все-таки опровергать языческих философов, а также иудеев, столь упорных по природе своей, то достигали этого более чудесами и праведной жизнью, чем силлогизмами, в особенности когда вспоминаешь, что ни один из их противников не был способен уразуметь хотя бы "Кводлибетум"¹⁵ Скота. А нынче какой язычник, какой еретик не склонится пред столь изощренными тонкостями, ежели, впрочем, он не грубый мужлан, не способный их понять, или не бесстыдник, готовый над ними посмеяться, или не человек ученый, готовый вступить в равный бой, подобно тому как волхв выступает против волхва, или владелец заколдованного меча бьется с врагом, тоже имеющим подобное оружие; в последнем случае состязание их уподобляется рукоделию Пенелопы, каждый вечер распускающей свою ткань и все начинающей сызнова. Нет, по моему суждению, весьма умно поступили бы христиане, если бы вместо мощных когорт, которые уже давно с переменным успехом ведут войну с турками и сарацинами, они послали в бой

крикливых скотистов, упорных оккамистов, непобедимых альбертистов и всю прочую софистическую рать: мы бы узрели тогда самую изысканную в истории битву и победу, никогда доселе не виданную. И в самом деле, кто настолько холоден, чтобы не воспламениться от этих ученых тонкостей? Кто столь тупоумен, чтобы не оценить всей их остроты? Кто настолько зорок, дабы различить что-либо в этом непроглядном мраке?

Однако, чего доброго, вам покажется, будто все это я говорю просто ради шуток. Нисколько не удивилась бы подобному предположению, ибо и между самими богословами есть люди, знакомые с подлинною наукой, которых тошнит от вздорных теологических хитросплетений. Есть и такие, которые ненавидят их не менее богохульства и почитают величайшим нечестием рассуждать скверными устами о столь таинственных вещах, дарованных нам скорее для безмолвного поклонения, нежели для изъяснения, спорить о них, прибегая к диалектическим изворотам, заимствованным у язычников, и осквернять величие божественной теологии холодными, более того -- гнусными словами и изречениями.

А доктора наши между тем донельзя собой довольны, сами себе рукоплещут и столь поглощены бывают своим усладительным вздором, что ни ночью, ни днем не остается им даже минуты досуга, дабы развернуть Евангелие или Павловы послания. Пустословья подобным образом в школах, мнят они, будто силлогизмами своими поддерживают готовую рухнуть вселенскую церковь, подобно тому как у поэтов Атлант держит на плечах свод небесный. А разве не приятно, по-вашему, разминать и лепить словно воск, таинственное священное учение, ставя свои конклюдии, скрепленные авторитетом нескольких схоластиков, превыше Солоновых законов и папских декретов? Разве не отрадно мнить себя цензорами всего круга земного, требуя отречения от всякого, кто хоть на волос разойдется с их очевидными и подразумеваемыми заключениями и вещая наподобие оракула: "Это утверждение соблазнительно, Это -- непочтительно. Это -- отдает ересью. Это -- худо звучит". Таким образом ни крещение, ни Евангелие, ни Павел с Петром, ни св. Иероним, ни Августин, ни даже сам Фома *Аристотельствующий* не в силах сделать человека христианином, буде не удостоится он одобрения со стороны тонко мудрствующих бакалавров. Как догадаться, что не христианин -- всякий утверждающий тождественность таких, например, изречений: *matula pates* и *matula putet, ollae fervere* и *ollam fervere*¹⁶ если бы не мудрецы наши, сообщившие об этом. Кто вывел бы церковь из мрака стольких заблуждений, которых, правда, так никто бы и не заметил, не будь к ним привешены большие университетские печати? Воистину блаженны все, кто мог посвятить себя подобным занятиям, кто описывает преисподнюю с такими подробностями, словно много лет были гражданами этой республики, кто мастерит по своему усмотрению новые сферы небесные, в том числе и десятую, самую обширную и прекрасную из всех (надо, чтоб и праведным душам было где погулять, попировать, а иной раз и в мяч поиграть на просторе). От всей этой чепухи головы у богословов до того распухли, что, полагаю, и сам Юпитер не испытывал подобной тяжести в мозгах, когда, собираясь произвести на свет Палладу, прибег за помощью к Вулкану¹⁷. А посему не дивитесь, ежели они являются на публичные диспуты, обмотав головы бесчисленными повязками. Без этой предосторожности их черепа могли бы треснуть. Я сама подчас не в силах удержаться от смеха, глядя на этих господ, которые мнят себя истинными богословами главным образом потому, что изъясняются столь грубым и варварским языком. При этом они так сильно заикаются, что понять их может лишь другой, подобный им заика, но свое невнятное бормотание почитают признаком глубокомыслия, недоступного уразумению толпы. Законы грамматики кажутся им несовместными с достоинством священной науки. Да, воистину удивительно величие богословов, которым одним позволено говорить с ошибками, -- впрочем, это право они разделяют со всеми сапожниками. Они мнят себя чуть ли не богами, слыша, как их благоговейно именуют "наставник наш": в этом прозвище им чудится нечто схожее с иудейской *тетраграммой*¹⁸. Они

утверждают, что неприлично писать слова НАСТАВНИК НАШ строчными литерами. А ежели кто случайно скажет наоборот -- "наш наставник", то тем самым нанесет тягчайшее оскорбление их богословскому величеству.

ГЛАВА LIV

К богословам по благополучию своему всего ближе так называемые благочестивые монахи-пустынножители, хотя это прозвище нисколько им не пристало: ведь большинство их далеко от всякого благочестия, и никто чаще "пустынножителей" не попадаете вам навстречу во всех людных местах. Не знаю, кто был бы несчастнее монахов, если б я не приходила им на помощь столь многими способами. Они навлекли на себя такую единомудушную ненависть, что даже случайная встреча с монахом почитается За худую примету, а между тем сами вполне собою довольны. Во-первых, они уверены, что высшее благочестие состоит в строжайшем воздержании от всех наук и лучше всего -- вовсе не знать грамоты. Засим, читая в церквах ослиными голосами непонятные им псалмы, они пребывают в убеждении, что доставляют великую усладу святым. Иные из них бахвалятся своим неряшеством и попрошайничеством и поднимают страшный шум у дверей, требуя милостыню; назойливо толпятся они в гостиницах, Заполняют повозки и корабли -- к немалому ущербу для прочих нищих. Своей грязью, невежеством, грубостью и бесстыдством эти милые люди, по их собственному мнению, уподобляются в глазах наших апостолам. Приятно видеть, как все у них делается по уставу, с пунктуальностью чуть ли не математической, и боже упаси нарушить этот порядок. Предусмотрено раз навсегда, сколько узлов должно быть у монаха на башмаке, какого цвета пояс, какими признаками должен отличаться его одежда, из какой ткани подобает ее шить, какой ширины должен быть пояс, какого покроя и размера капюшон, сколько вершков в поперечнике должна иметь тонзура и сколько часов отведено монаху на сон. Кому не ясно, сколь несправедливо такое внешнее равенство при естественном неравенстве умов и телесного сложения! И, однако, из-за Этого вздора они не только мнят себя безмерно выше людей светских, но презирают и друг друга; дав обет апостольской любви, они раздражаются трагическими тирадами, завидев рясу чуть темнее обыкновенного или опоясанную не так, как следует. Между ними и таких увидишь строгих богомолв, которые сверху обязательно носят грубое сукно, а исподнее шьют из полотна, другие же, напротив, сверху бывают полотняными, а внутри шерстяными. Некоторые боятся притронуться к деньгам, словно к яду, но нисколько не опасаются ни вина, ни прикосновения к женщинам.

Однако всего усерднее пекутся они о том, чтобы не быть похожими друг на друга. Не в том, чтобы возможно более уподобиться Христу, их цель, но в том, чтобы возможно сильнее отличаться от монахов других орденов. Немалую утеху находят они также и в своих прозваниях: так, одни именуют себя "вервеносцами", но и вервеносцы опять-таки разделяются на "колетов", "миноритов", "минимов" и "буллистов". Засим следуют "бенедиктинцы", "бернардинцы", "бригиттинцы", "августинцы", "вильгельмиты", "иаковиты", -- как будто не достаточно называться просто христианами. Большинство их столь высокого мнения о своих обрядах и ничтожных человеческих преданьях, что самое небо едва считает достойной наградой за такие заслуги, никто и не помышляет о том, что Христос, презрев все это, спросит об исполнении единственной его заповеди, а именно -- закона любви. Тогда один выставит напоказ свое брюхо, раздувшееся от рыбы всевозможных сортов. Другой вывалит сто мер псалмов. Третий перечислит мириады постов и укажет на свое чрево,

которое столько раз едва не лопалось после разговения. Иной притащит такую кучу обрядов, что ее едва ли свезут и семь торговых кораблей. Иной станет бахвалиться тем, что шестьдесят лет подряд притрагивался к деньгам не иначе, как надев предварительно на руку двойную перчатку. Этот покажет рясу, до того грязную и засаленную, что любой матрос погнушался бы ею. Тот напомнит, что более пятидесяти пяти лет он вел жизнь губки, вечно прикованной к одному и тому же месту. Этот сошлетя на свой голос, осипший от непрерывных песнопений. Один впал в летаргию от одиночества, у другого закоснел язык от долговременного молчания. Но Христос, прервав нескончаемое их хвастовство, скажет: "Откуда эта новая порода иудеев? Лишь один закон признаю я своим и как раз о нем-то ничего до сих пор не слышу. А ведь во время оно я совершенно открыто, без всяких притч или иносказаний, обещал отчее наследие в награду не за капюшоны, не за молитвы, не за воздержание от пищи, но единственно за дела милосердия. Не знаю я тех, кто слишком хорошо знает свои подвиги: кто хочет казаться святее меня, пусть займет, если угодно, небеса абраксасиев ' или прикажет построить 'новое небо тем людям, чьи глупые преданьица поставили выше моих заповедей". Как вы думаете, какие рожи скорчат монахи, услышав, что им предпочитают матросов и возчиков? Но до поры до времени они по моей милости могут тешить себя добрыми надеждами. Хоть они и отстранены от участия в делах общественных, однако никто не смеет пренебрегать ими, особенно же -- нищенствующими монахами, которые знают все чужие тайны благодаря исповеди. Тайны эти они блюдут свято, и разве что в пьяном виде развлекут иной раз собутыльников особенно забавными историями; впрочем, и тогда они не называют собственных имен и только по обстоятельствам дела дают возможность догадаться, о ком идет речь. Но если кто разъярит этих ос, того они на совесть отделают в публичных проповедях, причем назовут врага, хотя и обиняками, но так метко, что поймет всякий, кроме тех, кто вообще ничего не понимает. И дотоле не прервут они своего лая, пока не бросишь им и пасть лакомый кус.

Какой комедиант или площадной крикун сравнится с ними, когда они разглагольствуют с кафедры, смехотворно подражая приемам и манере древних риториков? Боже бессмертный, как они жестикулируют, как они ловко повышают голос, как пускают трели, как ломаются, какие строят гримасы, как воют на разные лады! И это искусство красноречия с великой таинственностью передается от одного братца-монаха к другому. Хоть мне и не дано было узнать все его тонкости, я все же попытаюсь рассказать о нем, основываясь на догадках и предположениях. Прежде всего по заимствованному у поэтов обычаю зывают они к Музе. Засим, собираясь говорить о милосердии, заводят речь о Ниле, реке египетской, или, проповедуя о таинстве креста, весьма кстати поминают Бэла, дракона вавилонского. Начав беседу о поэте, они перечисляют двенадцать знаков Зодиака, а рассуждая о вере, принимают толковать о квадратуре круга. Я сама слыхала одного изрядного глупца, -- прошу прощания -- я хотела сказать "ученого", -- который в блестящей проповеди, посвященной толкованию таинства святой троицы, желая дать выгодное понятие о своей начитанности и польстить слуху богословов, прибег к совершенно новому способу, а именно: завел речь сперва о буквах, потом о слогах, составляющих слова, потом о словах, образующих речь, наконец о согласовании имен и глаголов, существительных и прилагательных. Многие слушатели дивились, и иные уже повторяли про себя стих Горация:

К чему же ты чушь свою клонишь?²

Наконец проповедник сделал вывод, что в основных началах грамматики заключается образ и подобие святой троицы, и так убедительно это доказал, что никакой математик не смог бы за ним угнаться. Этот *сверхбогослов* потел над своей речью целых восемь месяцев и даже ослеп, словно крот, пожертвовав

остротой зрения ради остроты ума. Но сам он не слишком горюет об этом, полагая, что еще дешево купил свою славу. Слышала я также другого богослова, восьмидесятилетнего и до такой степени ученого, что его можно принять за самого Дунса Скота, воскресшего из мертвых. Изъясняя тайну имени Иисусова, он с изумительной тонкостью доказал, что в самих буквах этого имени содержится все, что только можно сказать о спасителе. Ибо имя это имеет лишь три падежные формы -- явственное подобие божественной троичности. Засим: первый падеж *lesus* оканчивается на *s*; второй, *lesu* -- на *u*, третий, *lesum* -- на *m* и в этом неизреченная тайна, а именно: названные три буквы означают, что Иисус есть *summus*, *medius* и *ultimus*, то есть верхний, средний и крайний. Оставалась другая, еще более сокровенная тайна, которая разъясняется при помощи математики: ежели разделить имя "Иисус" на две равные части, то посредине останется буква *s*. Эта буква у евреев называется "син", а на языке шотландцев слово "син" означает грех. Отселе явствует, что Иисус есть тот, кто принял на плечи свои грехи мира. Восхищенные столь необычайным вступлением слушатели, особливо же теологи, чуть не обратились в камень наподобие Ниобеи³, а со мною от смеха едва не стряслась такая же беда, какая постигла деревянного Приапа, когда ему однажды пришлось стать свидетелем ночных таинств Канидии и Саганы⁴. Да и не мудрено: ведь подобных *зачинов* не встретишь ни у эллина Демосфена, ни у латинянина Цицерона. Они считали никуда не годным вступление, слишком далекое от предмета речи (впрочем, должно заметить, что такого же мнения придерживаются и свинопасы -- их учит тому сама природа). Но искусники наши, декламируя свою так называемую "преамбулу", верят, что тем больше в ней риторских красот, чем дальше отстоит она от содержания остальной речи, и потому стараются исторгнуть у слушателя восхищенный шепот: "Куда же он теперь загнет?"

Засим следует пересказ небольшого отрывка из Евангелия (он соответствует третьему разделу речи -- изложению существа дела). Оратор толкует его наспех и как бы мимоходом, тогда как об одном этом, в сущности, и следовало бы говорить. Засим, в-четвертых, нацепив новую личину, проповедник выдвигает некую богословскую проблему, по большей части *не имеющую отношения ни к земле, ни к небу* (того требуют, оказывается, законы ораторского искусства). Вот здесь-то и начинается превысшпеннее богословие: в ушах слушателей раздаются Звучные титулы докторов величавых, докторов изощренных, докторов изощреннейших, докторов серафических, докторов святых и докторов непровержимых. Далее следуют большие и малые силлогизмы, выводы, заключения, пустейшие посылки и прочая схоластическая дребедень, предлагаемая вниманию невежественной толпы. Наконец, разыгрывается пятый акт, требующий наивысшей ловкости и искусства. Проповедник преподносит вам какую-нибудь глупую и грубую басню, позаимствованную из "Исторического зеркала" или "Римских деяний"⁵, и толкует ее аллегорически, тропологически⁶ и анагогически⁷. На том и заканчивается речь, еще более чудовищная, чем химера, о которой говорит Гораций в известном стихе: "Если бы женскую голову" и т. д.⁸

Наши проповедники слышали неведомо от кого, что начинать речь подобает возможно тише. И вот произносят они свой зачин таким голосом, что и сами себя не могут слышать; но стоит ли вообще говорить, если никто тебя не понимает? Слышали они также, что громкие возгласы рождают волнение в душе слушателей. Поэтому, заговорив обычным голосом, они вдруг повышают его до бешеного вопля, хотя бы и совсем некстати. Право, хочется иной раз побожиться, что такому проповеднику пошел бы впрок эллебор⁹. Далее, слышали они, что речь следует вести, постепенно воодушевляясь, и, произнеся несколько первых фраз более или менее пристойно, они вдруг начинают надрываться, хотя бы дело касалось самых ничтожных предметов, и до тех пор усердствуют, пока только духу хватает. Засим вытвердили они все, что

древние риторы говорят о смехе, и потому сами тшятся отпустить шуточки, но какие шуточки! -- *любезная Афродита!* -- такие изящные, такие уместные, что чудится, будто слушаешь *осла, поющего под звуки лиры*. Порою пытаются они и съязвить, но при этом скорее щекочут, нежели ранят, а самую неприкрытую лесть стараются выдать за *прямоту и откровенность*.

Вообще, послушав все эти проповеди, хочется присягнуть, что авторы их обучались своему искусству у площадных краснобаев, хотя до сих последних им все-таки далеко. Как бы то ни было, они во многих отношениях столь друг с другом схожи, что, без всякого сомнения, либо те у этих, либо эти у тех позаимствовали свою риторику. И, однако, -- не без моей, разумеется, помощи, -- находят они слушателей, готовых почитать их за истинных Демосфенов и Цицеронов. Особенно высоко ценят их талант торговцы и бабы; им-то по преимуществу и стараются угодить проповедники, ибо первые готовы уделить частицу неправедно нажитого всякому, кто сумеет им польстить, а вторые благоволят к духовному сословию по многим причинам, особливо же потому, что привыкли изливать на груди у монахов свои жалобы на мужей. Теперь, я полагаю, вы сами видите, сколь многим обязана мне эта порода людей, которые при помощи мелочных обрядов, вздорных выдумок и диких воплей подчиняют смертных своей тирании, а сами мнят себя новыми Павлами и Антониями¹⁰.

ГЛАВА LV

Охотно покидаю я этих бесчестных лицедеев, которые, прикидываясь набожными, черной неблагодарностью платят мне за мою благостыню, и с удовольствием завожу речь о королях и о знатных придворных, кои чтут меня с прямодушием и откровенностью, достойными людей благородных. Что, если бы у этих господ завелось хотя бы на пол-унции здравого смысла? Как печальна и незавидна была бы их жизнь! Право, никто не стал бы добиваться власти столь дорогою ценой, как клятвopеступление и убийство, если бы предварительно взвесил, что за бремя возлагает на свои плечи всякий, желающий быть государем. Кто взял в свои руки кормило правления, тот обязан помышлять лишь об общественных, а отнюдь не о частных своих делах, не отступать ни на вершок от законов, каковых он и автор и исполнитель, следить постоянно за неподкупностью должностных лиц и судей; вечно он у всех перед глазами, как благодетельная звезда, чистотой и непорочностью своей хранящая от гибели род человеческий, или как грозная комета, всем несущая гибель. Пороки всех остальных лиц губительны для немногих и по большей части остаются скрытыми, но государь поставлен так высоко, что если он позволит себе хотя бы малейшее уклонение от путей чести, тотчас же словно чума распространяется среди его подданных. Богатство и могущество государей умножают для них поводы свернуть с прямой дороги: чем больше вокруг них разнузданности, наслаждений, лести, роскоши, тем бдительнее должны они следить за собой, дабы не ошибиться и не погрешить в чем-либо против обязанностей своего звания. Наконец, какие козни, какая ненависть, какие опасности подстерегают их, не говоря уже о страхе перед тем неизбежным мгновением, когда единый истинный царь истребует у них отчет даже в малейшем проступке, истребует с тем большею строгостью, чем шире была представленная им власть! Если бы, повторяю, государь взвесил в уме своем все это и многое другое в том же роде, -- а он бы так и сделал, обладай он здравым разумением, -- то, полагаю, не было бы ему отрады ни во сне, ни в пище. Но, благодаря моим дарам, государи возлагают все заботы на богов, а сами живут в довольстве и веселии и, дабы не смущать своего спокойствия, допускают к себе только таких людей, которые привыкли говорить одни приятные вещи. Они уверены, что честно исполняют свой монарший долг, если усердно охотятся, разводят породистых жеребцов, продают не без пользы для себя должности и чины и ежедневно измышляют новые способы набивать свою

казну, отнимая у граждан их достояние. Для этого, правда, требуется благовидный предлог, так чтобы даже несправедливейшее дело имело внешнее подобие справедливости. Тут в виде приправы к делам, произносятся несколько льстивых слов с целью привлечь души подданных.

Теперь вообразите себе -- а ведь это встречается и в жизни -- человека невежественного в законах, чуть не прямого врага общего блага, преследующего единственно свои личные выгоды, преданного сладострастию, ненавистника учености, ненавистника истины и свободы, менее всего помышляющего о процветании государства, но все меряющего меркою собственных прибытков и вожделений. Наденьте на такого человека золотую цепь, указующую на соединение всех добродетелей, возложите ему на голову корону, усыпанную дорогими камнями, напоминание о том, что носитель ее должен всех превосходить величием своих доблестей, вручите ему скипетр, символ правосудия и неподкупной справедливости, наконец облеките его в пурпур, знаменующий возвышенную любовь к отечеству. Если государь сопоставит все эти украшения с жизнью, которую он ведет, то, я уверена, он устыдится своего наряда и ему станет страшно, как бы какой-нибудь шутник не сделал предметом посмеяния этот величественный убор.

ГЛАВА LVI

А что сказать о придворных вельможах? Нет, пожалуй, ничего раболепнее, низкопоклоннее, пошлее и гнуснее их, а между тем во всех делах они хотят быть первыми. В одном лишь они скромны: до крайности: довольствуясь тем, что украшают себя золотом, дорогими камнями, пурпуром и прочими внешними знаками доблести и мудрости, самую суть этих двух вещей они целиком уступают другим людям. Для счастья им с избытком хватает того, что они могут называть короля своим господином, при всяком удобном случае свидетельствовать ему свое почтение, рассыпая в изобилии пышные титулы, вроде "ваша светлость", "ваше великолепие", "ваше величество". Как ловко выучились они стирать с лица краску стыда. Оба эти искусства как нельзя более приличествуют знатному барину и придворному. Но всмотрись внимательнее и увидишь, что перед тобой настоящие феаки, женихи Пенелопы, -- эхо подскажет вам окончание этого стиха лучше, чем я¹. Спят они до полудня; наемный попик стоит наготове возле постели и, лишь только господин пробудится, тотчас же наспех правит службу. Засим следует завтрак, по окончании которого почти тут же подают обед. Затем кости, бирюльки, пари, скоморохи, шуты, потаскухи, забавы и потехи. В промежутках -- раза два закуска с выпивкой. Затем наступает время ужина, за которым следует попойка с многократными, клянусь Юпитером, возлияниями. Таким образом без малейшей скуки проходят часы, дни, месяцы, годы, века. Даже я нередко от души развлекаюсь, глядя на *Этих долгохвостых*: вот юная дама, которая мнит себя рапной богиням, потому что таскает за собой длиннейший шлейф, вот здоровенный детина, расталкивающий локтями соседей, чтобы все увидели его рядом с Юпитером, вот еще один, счастливый тем, что на шее у него красуется тяжелейшая цепь, выставяющая напоказ не только богатство, но и телесную силу своего владельца.

ГЛАВА LVII

Папы, кардиналы и епископы не только соперничают с государями в пышности, но иногда и превосходят их. Вряд ли кто помышляет о том, что белоснежное льняное одеяние означает беспорочную жизнь. Кому приходит в голову, что двурога митра с узлом, стягивающим обе верхушки, знаменует совершеннейшее знание Ветхого и Нового завета? Кто помнит, что руки, обтянутые перчатками, суть символ чистого и непричастного ко всему земному совершения таинств, что посох изображает бдительную заботу о пастве, а епископский крест -- победу над всеми страстями человеческими? И вот я спрашиваю: тот, кто поразмыслит над подразумеваемым значением всех этих предметов, не будет ли вынужден вести жизнь, исполненную забот и печалей? Но почти все избрали благую часть и пасут только самих себя, возлагая заботу об овцах либо на самого Христа, либо на странствующих монахов и на своих викариев. И не вспомнит никто, что самое слово "епископ" означает труд, заботу и прилежание: лишь об уловлении денег воистину пекутся они и здесь, как подобает епископам, смотрят в оба.

ГЛАВА LVIII

А если бы кардиналы в свою очередь поразмыслили о том, что они унаследовали место апостолов и, стало быть, обязаны подражать их жизни? Если бы им пришло в голову, что они не хозяева духовных даров, но лишь управители, которым рано или поздно придется дать строжайший отчет во всем? Если бы они хоть призадумались над значением отдельных частей своего наряда? Что означает эта белизна нижнего облачения, если не высочайшую и совершеннейшую беспорочность жизни? Что такое эта пурпуровая ряса, как не символ пламенной любви к богу? На что указывает эта мантия, ниспадающая широкими складками на спину мула их высокопреосвященства и столь обширная, что ею можно было бы прикрыть даже верблюда? Не есть ли она знамение всеобъемлющего милосердия, выражающегося в поучениях, увещаниях, наставлениях, обличениях, убеждениях, в примирении воюющих, в сопротивлении неправедным государям и даже в пролитии собственной крови за христианскую паству, не говоря уже о жертвах своим достоянием? Да и подобает ли богатое достояние тем, кто пришел на смену нищим апостолам? Повторяю, если бы отцы кардиналы взвесили все это, они не добивались бы высокого своего сана и покидали бы его с великой охотой, либо вели жизнь, полную тяжких трудов и забот, -- такую же, как некогда апостолы.

ГЛАВА LIX

А верховные первосвященники, которые заступают место самого Христа? Если бы они попробовали подражать его жизни, а именно бедности, трудам, учительству, крестной смерти, презрению к жизни, если бы задумались над значением своих титулов -- "папы", иначе говоря, отца и "святейшества", -- чья участь в целом свете оказалась бы печальнее? Кто стал бы добиваться этого места любой ценой или, однажды добившись, решил бы отстаивать его посредством меча, яда и всяческого насилия? Сколь многих выгод лишился бы папский престол, если бы на него хоть раз вступила Мудрость? Мудрость, сказала я? Пусть не Мудрость даже, а хотя бы крупинка той соли, о которой говорил Христос. Что осталось бы тогда от всех этих богатств, почестей,

владычества, побед, должностей, диспенсаций¹, сборов, индulgенций, коней, мулов, телохранителей, наслаждений? (В нескольких словах я изобразила вам целую ярмарку, целую гору, целый океан всяческих благ.) Их место заняли бы бдения, посты, слезы, проповеди, молитвенные собрания, ученые занятия, покаянные вздохи и тысяча других столь же горестных тягот. Не следует также забывать об участи, которая постигла бы бесчисленных чиновников, копиистов, нотариусов, адвокатов, промоторов, секретарей, погонщиков мулов, конюших, банкиров, сводников... Прибавила бы я еще словечка два покрепче, да боюсь оскорбить ваши уши... В общем, вся эта огромная толпа, которая отягощает, -- или нет, прошу прощения, -- которая украшает римский престол, была бы обречена на голод. Но еще бесчеловечнее, еще ужаснее, еще нестерпимее было бы пожелание, чтобы верховные князья церкви, эти истинные светочи мира, снова взяли за суму и посох.

Ныне же, напротив, все труды возлагаются на Петра и Павла, -- у них ведь довольно досуга, -- а блеск и наслаждение папы берут себе. При моем содействии никому в целом роде людском не живется так привольно и беззаботно, как им. Они мнят, будто в совершенстве исполняют закон Христов, если, надев на себя мистический и почти театральный убор, присвоив титулы "блаженнейшего", "преподобнейшего" и "святейшего", раздавая благословения и проклятия, разыгрывают роль верховных епископов. Смешно, старомодно и совсем не ко времени в наши дни творить чудеса. Поучать народ -- трудно; толковать священное писание -- схоластично; молиться -- бесполезно; лить слезы -- некрасиво женоподобно; жить в бедности -- грязно; оказаться побежденным -- постыдно и недостойно того, кто и королей едва допускает лобызать свои блаженные стопы; наконец, умирать -- неприятно, а быть распятым -- позорно. Остается одно лишь оружие да те сладкие словеса, о которых упоминает апостол Павел² и которых никогда не жалели папы в своем милосердии, и, наконец, интердикты, временные отрешения от бенефициев³, повторные отлучения, анафемы, картинки, изображающие муки грешников, и грозные молнии, при помощи которых папы единым своим мановением низвергают души смертных в самую глубину Тартара. Охотнее всего святейшие во Христе отцы и Христовы наместники поражают этими молниями тех, кто, наущаемый дьяволом, пытается умалить или расхитить достояние св. Петра. Хотя, по свидетельству Евангелия, Петр сказал: "Вот мы оставили все и последовали за тобою",⁴ однако его достоянием именуются поля, города, селения, налоги, пошлины, права владения. Ревнуя о Христе, папы огнем и мечом отстаивают "наследие Петрово", щедро проливают христианскую кровь и при Этом свято веруют, что они по завету апостольскому охраняют невесту Христову -- церковь, доблестно сокрушая ее врагов. Как будто могут быть у церкви враги злее, нежели нечестивые первосвященники, которые своим молчанием о Христе позволяют забывать о нем, которые связывают его своими гнусными законами, искажают его учение своими за уши притянутыми толкованиями и убивают его своей гнусной жизнью. Поскольку христианская церковь основана на крови, кровью скреплена и кровью возвеличилась, они по сей день продолжают действовать мечом, словно нет больше Христа, который сам защищает своих верных. И хотя война есть дело до того жестокое, что подобает скорее хищным зверям, нежели людям, до того безумное, что поэты считают ее порождением фурий, до того зловредное, что разлагает нравы с быстротою моровой язвы, до того несправедливое, что лучше всего предоставить заботу о ней отъявленным разбойникам, до того нечестивое, что ничего общего не имеет с Христом, -- однако папы, забывая обо всем на свете, то и дело затевают войны.

Порой увидишь даже дряхлых старцев⁵, одушевленных чисто юношеским пылом, которых никакие расходы не страшат и никакие труды не утомляют, которые, ни минуты не колеблясь, перевернут вверх дном законы, религию, мир и спокойствие и все вообще дела человеческие. И находятся у них ученые льстецы, которые именуют это явное безумие святой ревностью,

благочестием, мужеством, которые, пускаясь во всевозможные тонкости, доказывают, что можно, обнаживши губительный меч, пронзая железом утробу брата своего, нисколько не погрешая в то же время против высшей заповеди Христа о любви к ближнему.

ГЛАВА LX

Я не берусь сказать наверное, с пап ли взяли пример или, напротив, сами послужили для них примером иные германские епископы, которые действуют еще проще: скинув свой святой убор, отказавшись от благословений и прочих обрядов, они живут настоящими сатрапами и почитают неприличным и даже позорным для епископа отдать богу доблестную душу где-либо в ином месте, кроме ратного поля. Что касается обычных священников, то им, конечно, не подобает уступать в святости жизни своему церковному начальству, а потому и они сражаются по-военному, мечами, копьями, каменьями и прочим оружием отстаивая свое право на десятину¹. Люди весьма глазастые, они с величайшим тщанием выискивают в старинных грамотах все, чем можно напугать страху на простой народ и заставить его вносить более чем десятую часть урожая. И не приходит ни одному из них в голову, что по должности своей, -- как о том написано в разных книгах, -- они в свою очередь обязаны многое делать для паствы. Даже бритая макушка не напоминает им, что священнику надлежит быть свободным от всех мирских страстей и помышлять только о небесном. Эти милые люди полагают, будто честно правят свою должность, если бормочут кое-как свои молитвы, которых, клянусь Гераклом, не слышит и не понимает ни один бог, ибо они и сами-то не слышат и не понимают того, что слетает с их уст. И еще одно уподобляет священников мирянам: все они неусыпно следят за сбором своей жатвы и превосходно знают относящиеся сюда законы. Что касается обязанностей, то они благоразумно перелаживают это бремя на чужие плечи или передают из рук в руки, словно мячик. Подобно тому как светские государи посылают для управления областями наместников, а наместники в свою очередь поручают это дело своим помощникам, так и духовенство, по смирению своему, предоставляет труды благочестия простому народу. Но и простой люд спешит свалить эти труды на так называемых "церковнослужителей", как будто сам он ничего общего не имеет с церковью и обряд крещения вовсе над ним не совершался. Священники, именуемые светскими, -- словно посвятили себя миру, а не Христу, -- возлагают груз пастырских обязанностей на регулярное духовенство². Регулярное духовенство прибегает к содействию монахов; монахи, живущие по легкому уставу, призывают монахов устава строгого; последние обращаются к нищенствующим орденам, а нищенствующая братия уповает на картезианцев³, среди которых единственно и скрывается благочестие, но так хорошо скрывается, что его почти никогда и не увидишь. Равным образом верховные первосвященники, столь усердные в собирании денежной жатвы, препоручают эти тяжкие, сверхапостольские труды епископам, епископы -- приходским священникам, приходские священники -- викариям, викарии -- нищенствующим монахам. Последние же в свою очередь обращаются к услугам тех, кто умеет стричь овец. Впрочем, я не намерена разбирать здесь во всех подробностях жизнь папы и остальных духовных лиц: ведь я не сатиру сочиняю, а произношу похвальное слово. И да не подумает кто, будто я порицаю хороших государей, превознося дурных. Я лишь стремлюсь доказать в немногих словах, что ни один смертный не может жить с приятностью, не будучи посвящен в мои таинства и не пользуясь моим благоволением.

ГЛАВА LXI

Да и может ли быть иначе, если сама Рамнуэзия¹, управительница всех дел человеческих, до того согласно со мною мыслит, что вечно пылает враждой к мудрецам, а дураков, напротив, даже во сне осыпает благодеяниями? Слыхали вы про знаменитого Тимофея, прозванного Счастливым², о котором сложили пословицу: счастье валит к нему и во сне. Напротив, о мудрецах говорится, что *родятся они на ущербе луны*, ездят на Сеевом коне, а в карманах у них гремит тулузское золото³. Но хватит с меня *пословиц*, не то, пожалуй, подумают, будто я украла их из сборника, составленного моим другом Эряз-мом⁴. Итак, к делу! Фортуна любит людей не слишком благоразумных, но зато отважных, таких, которые привыкли повторять: "Будь что будет". А мудрость делает людей робкими, и потому на каждом шагу видишь мудрецов, живущих в бедности, в голоде, в грязи и в небрежении, повсюду встречающих лишь презрение и ненависть. К дуракам же плывут деньги, они держат в своих руках кормило государственного правления и вообще всячески процветают.

Если счастье состоит в том, чтобы угождать государям и блистать в нарядной толпе моих богоравных любимцев, то что может быть бесполезнее мудрости, что губительнее ее для рода человеческого? Если речь пойдет о накоплении богатств, какого прибытка дождется купец, следующий внушениям мудрости? Ведь он избегает ложных клятв, краснеет, когда его уличат во лжи, придает великое значение всем тем пустякам, которые мудрецы нагородили относительно воровства и ростовщичества. Если прельщают тебя церковные почести и доходы, то знай, что осел или буйвол скорей достигнут их, нежели мудрец. Если манит тебя сладострастие, то помни, что молодые женщины, о которых мы так много говорили сегодня, всем сердцем преданы дуракам, мудреца же боятся и избегают, словно скорпиона. Наконец, все желающие пожить хоть немного приятнее и веселее обыкновенного первым долгом спешат изгнать мудреца и готовы принять любого скота на его место. Да и вообще к кому ты ни обратишься: к первосвященникам ли, монархам, судьям, чиновникам, друзьям или врагам, к великим или малым мира сего, -- повсюду требуются наличные деньги; а поскольку мудрец презирает деньги, то все дружно от него отворачиваются.

Но если похвалам, кои мне причитаются, не может быть ни меры, ни предела, то всякая речь по необходимости должна иметь свой конец. Поэтому я кончаю и лишь предварительно укажу в нескольких словах, что многие изрядные авторы прославили меня и в писаниях своих и на деле. Не то вы, чего доброго, решите, будто я одна только и восхищаюсь собою, словно дура какая-нибудь, а жалкие крючкотворы станут клеветать, утверждая, что мне не на кого сослаться. Итак, последую их собственному примеру, иначе говоря, буду цитировать *вкривь и вкось*.

ГЛАВА LXII

Начать с того, что все соглашаются с общеизвестной пословицей: "И будь без хвоста, да не кажись кургуз". Ту же самую истину преподают детям в виде стишка:

Вовремя глупым умей притвориться -- всех будешь мудрее.

Вы сами теперь понимаете, какое великое благо -- глупость, если даже

обманчивая тень ее и простое подражание удостоились таких похвал из уст людей ученых. Еще откровеннее высказался этот толстый и холеный поросенок из Эпикурова стада¹, посоветовав "с трезвой мыслью мешать глупость"². Он, правда, добавляет: "на краткий срок", но эта поправка не делает ему чести.

У него же в другом месте сказано:

*Сладко мудрость забыть порой*³.

И далее:

*Лучше безумцем прослыть и болваном, чем умником хмурым*⁴.

Уже у Гомера Телемах, всячески восхваляемый поэтом, не раз именуется *неразумным дитятей*, и тем же прозвищем постоянно награждают мальчиков и отроков трагики, словно желая им счастья и удачи. А что такое сама священная "Илиада", как не повествование о ссорах глупых царей и народов? Наконец, что может быть возвышеннее той хвалы, которую воздал мне Цицерон? "Весь мир полон глупцов"⁵, -- сказал он. Но кому не известно, что чем шире распространено какое-либо благо, тем оно драгоценнее?

ГЛАВА LXIII

Но, быть может, для христиан все эти язычники не указ? Обратимся в таком случае к свидетельствам Священного писания и постараемся с его помощью обосновать или, как говорят ученые, апрофондировать мои восхваления; испросим разрешения у богословов и приступим к этому трудному делу. Пожалуй, неприлично будет снова взывать к Музам Геликонским, поскольку вопрос этот для них посторонний, а так как я разыгрываю теперь богослова и продираюсь сквозь тернии теологии, то лучше всего воззвать к душе Скота, колючей, словно еж или дикобраз, и попросить, чтобы она переселилась хоть на малое время из любезной своей Сорбонны¹ в мою грудь, а потом пусть убирается куда угодно, хотя к свиньям. Вот если б только позволили мне нацепить другую личину и облечься в богословские одежды! Боюсь, впрочем, как бы, увидя во мне столько богословской учености, не притянули меня к суду за то, что я обчистила исподтишка сундуки "наставников наших". Но не следует удивляться тому, что, вращаясь так долго в кругу моих близких друзей-теологов, я позаимствовалась у них кое-чем, подобно тому как эта дубина Приап вытвердил и запомнил несколько греческих слов, слушая чтение своего хозяина². Петух в диалоге Лукиана от долгого общения с людьми тоже выучился говорить человеческим языком.

Но перейдем к самому делу, с помощью божией. Екклезиаст написал в главе первой: "Бесконечно число глупцов"³. Вещая о бесчисленности глупцов, не хотел ли сказать мудрец, что все люди вообще глупы, за ничтожными изъятиями, на которые не стоит, пожалуй, обращать внимания. Еще яснее то же утверждает Иеремия в главе десятой: "Безумствует, -- говорит он, -- всякий человек в своем знании"⁴. Пророк приписывает мудрость одному богу, а людям оставляет в удел глупость. Он же утверждает немного выше: "Да не хвалится мудрый мудростью своею"⁵. Почему не позволяешь ты человеку хвалиться своей мудростью, добрейший Иеремия? Потому, ответит он, что человек вовсе лишен мудрости. Но возвращаясь к Екклезиасту.

"Суета сует, -- восклицает он, -- все суета!"⁶ Как вы полагаете, не разумел ли он этим, что жизнь человеческая, как мы уже говорили, есть всего-навсего игра Глупости? Не являются ли эти слова блестящим подтверждением приведенного мною выше изречения Цицерона: "Весь мир полон глупцов"? Далее, в "Книге премудрости Иисуса, сына Сирахова" сказано: "Глупый меняется, как луна, мудрый пребывает, как солнце"⁷. Не означает ли это, что весь род человеческий глуп и лишь одного бога можно наименовать мудрым, ибо под луной должно разуметь человеческую природу, а под солнцем, источником всякого света, -- единого бога? С изречением этим вполне согласуются и слова самого Христа, который запрещает называть кого бы то ни было благим, кроме бога⁸. Итак, ежели глуп тот, кто не мудр, и ежели правы стоики, отождествляющие благодать с мудростью, то отсюда с необходимостью следует, что все люди подвластны Глупости. В главе пятнадцатой "Притчей Соломоновых" говорится; "Глупость -- радость для малоумного". Это означает, что без глупости ничто не сладко нам в жизни. О том же читаем и в ином месте: "Во многой мудрости много печали, и кто умножает познания, умножает скорбь"⁹. То же самое с еще большей ясностью провозгласил славный проповедник в главе седьмой: "Сердце мудрых -- в доме плача, а сердце глупых -- в доме веселья"¹⁰. А потому сам он не ограничился изучением мудрости, но счел за благо свести знакомство также и со мной. Ежели не верите, взгляните на те слова, которые начертаны в главе первой: "И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость". Обращаю, кстати, внимание ваше на то, что Глупость занимает здесь второе место после Мудрости, а второе место не в пример почетнее. Так писал Екклезиаст, да вы и сами знаете, что этого требует церковный чин: кто по должности своей всех выше, гот занимает последнее место -- согласно заповеди евангельской¹¹. Нет, Глупость, вне всякого сомнения, важнее Мудрости и автор "Премудрости Иисуса, сына Сирахова", кто бы он ни был, недвусмысленно о том свидетельствует в главе сорок четвертой¹², но, клянусь Гераклом, я приведу вам его подлинные слова лишь в том случае, если вы пособите моему *рассуждению*, отвечая на вопросы, как то делают в Платоновых диалогах собеседники Сократа. Что подобает скрывать: вещи редкие и драгоценные или дешевые и низкие? Что же вы молчите? Если вздумаете хитрить, то за вас ответит греческая пословица: *глиняный кувшин и у порога можно оставить*. А дабы не посмел никто нечестиво возражать против этого изречения, спешу напомнить, что на него ссылается сам Аристотель, этот бог всех наших докторов богословия. Кто из вас настолько глуп, чтобы оставлять на пороге золото и драгоценные камни? Клянусь Гераклом, я не верю, чтобы подобный дурак отыскался. Такие вещи вы держите во внутренних покоях, мало того -- в сокровеннейших уголках окованных железом сундуков, а всякую дрянь бросаете на виду у всех. Но если драгоценные вещи надлежит прятать, а дешевые выставлять напоказ, то не явствует ли отсюда, что мудрость, которую Писание запрещает скрывать, дешевле глупости, которую оно приказывает укрывать во мраке. А вот и само свидетельство: "Лучше человек, скрывающий свою глупость, нежели человек, скрывающий свою мудрость"¹³. Священное писание приписывает глупцу простодушие, тогда как мудрец никого не почитает себе равным. Так по крайней мере толкую я следующее место у Екклезиаста в главе X: "По какой бы дороге ни шел глупый, у него всегда не достанет смысла, и во всяком встречном видит он глупца"¹⁴. Какое простодушие -- ставить себя на одну доску с прочими смертными и делить с ними похвалы (ведь любой человек качества свои почитает достойными похвал)! Поэтому и не постыдился великий царь самого себя наименовать глупцом, сказав в главе тридцатой: "Подлинно, я более невежда, нежели кто-либо из людей!"¹⁵ И Павел, апостол язычников, в "Послании к Коринфянам" с охотою принимает название глупца: "Если кто смеет хвалиться чем-либо, то, скажу по неразумию, смею и я"¹⁶.

Он, по-видимому, никому не хотел уступить по части глупости.

Но уже подъедают против меня крик всякие греки, которые, словно воронье, норовят выклевать глаза новейшим богословам и только головы людям морочат своими комментариями. В их стае если не первое, то уж конечно второе место занимает мой милый Эразм, которого я, чести ради, поминаю здесь чаще других. "Глупая и воистину достойная Морию цитата, -- вопиют греки. -- Совсем иное хотел сказать апостол, а не то, что тебе почудилось. Он отнюдь не старался доказать, будто он глупее остальных; в самом деле, воскликнув: "Они Христовы служители? И я тоже", -- Павел, отлично понимая, что он не только равен прочим апостолам, но и превышает их в деле служения Евангелию, прибавляет: "Я больше". Однако, не желая вводить в соблазн тех, кому такое заявление могло показаться излишне дерзновенным, он тут же поспешил оправдаться: "В безумии, мол, говорю"¹⁷. Ибо безумию дарована привилегия говорить правду, никого не оскорбляя". Но я вовсе не намерена вступать с ними в препирательства по поводу того, что думал Павел, когда писал приведенные выше слова. Пусть их судят, как им угодно, а я пойду следом за дородными, жирными, тучными и повсюду уважаемыми богословами, вместе с которыми большинство докторов наших предпочитают, *клянусь Зевсом*, заблуждаться, лишь бы не делить мнения, хотя бы и правые, с этими "трехязычными"¹⁸. Ибо доктора наши почитают "гречишек" нисколько не выше грачей. Особливо -- один славный теолог¹⁹, имя коего я благоразумно утаю, дабы не дать грачам повода лишний раз вспомнить греческую поговорку *об осле и лире*; по всем правилам богословской науки он разъяснил занимающий нас текст: "В безумии говорю: я больше". Этому месту он посвятил целую главу, добираясь в ней до крайних пределов диалектики, а потому вводя новые разделения и подразделения. Итак, я приведу здесь собственные его слова, одинаково замечательные как по форме, так и по содержанию: "В безумии говорю" -- означает в данном случае, что ежели я кажусь вам безумным, приравнивая себя к лжеапостолам, то буду еще безумнее, поставив себя выше их". Впрочем, немного дальше наш теолог перескакивает на совсем другой предмет, видимо, позабыв, о чем только что шла речь.

ГЛАВА LXIV

Но к чему цепляться так робко за один-единственный пример? Как будто богословам вообще не предоставлено право выворачивать по своему усмотрению наизнанку небо, сиречь Святое писание, словно баранью шкуру! Ведь и у самого божественного Павла встречаются слова, которые кажутся противоречивыми, но перестают быть таковыми, будучи переставлены на подобающее им место. Если верить свидетельству *пятиязычного*¹ Иеронима, Павел для подтверждения христианской веры искажил надпись на случайно замеченном им афинском жертвеннике и привел из нее только два слова: "неведомому богу"², пропустив все остальное, как не соответствующее его целям, ибо надпись в целом гласила: "Богам Азии, Европы и Африки, богам неведомым и чужеземным". Я полагаю, что по его примеру и наши *чада богословия* постоянно вырывают из разных мест по четыре-пять словечек, а порою, ежели встретится в том нужда, даже искажают их себе на потребу и затем на них же ссылаются, нисколько не заботясь о том, что весь предыдущий и последующий текст либо никакого отношения не имеет к разбираемому вопросу, либо даже прямо противоречит тому толкованию, которое они предлагают. И столь счастливы бывают в своем бесстыдстве наши теологи, что им сплошь да рядом могут позавидовать даже законоведы.

Да и в самом деле, как усомниться в том, что для них все возможно, если Знаменитый доктор -- чуть не назвала его по имени, да опять боюсь пословицы -- выдал из слов Луки некое поучение, которое так же хорошо уживается со всем духом Христовым, как вода с огнем. В час великой опасности, когда все добрые слуги собираются вокруг господ своих, дабы постоять за них всеми силами, Христос, желавший изгнать из души учеников всякую надежду на земную подмогу, спрашивает, нуждались ли они в чем-либо, когда ходили проповедовать по наказу учителя, хотя и не получили от него ни обуви для защиты от терний и камней, ни сумы с припасами, чтобы могли не опасаться голода. Когда апостолы ответили, что ни в чем не терпели нужды, он добавил: "Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, а также и суму; а у кого нет, продай одежду свою и купи меч"³. Поскольку все христианское учение основано лишь на кротости, терпении и презрении к жизни, кому не ясно, как следует понимать это место? Христос призывал своих посланцев забыть все мирское, чтобы они не только не помышляли о суме и обуви, но даже платье содрали с себя и приступили нагие и ничем не обремененные к дарам евангельским, ничего не имея, кроме меча, -- не того, конечно, которым действуют разбойники и убийцы, но меча духовного, проникающего в самую глубину груди и напрочь отсекающего все мирские помышления, так что в сердце остается одно только благочестие. Но взгляните, прошу вас, как переиначил все это наш знаменитый богослов. Меч он толкует как защиту против гонений, мешок -- как достаточный запас съестного, словно Христос переменял свои мысли на этот счет и, спохватившись, что не совсем *по-царски* снарядил проповедников, взял обратно все прежние свои наставления. По-видимому, забыв, что еще совсем недавно провозглашал он блаженными тех, кого будут поносить, гнать и мучить, воспрещал противиться злу, обещал блаженство кротким, а не свирепым, ставил людям в пример воробьев и лилии, Христос теперь старается снабдить своих учеников мечами и для приобретения их даже повелел продать одежду, как будто предпочел видеть своих последователей лучше нагими, нежели безоружными. Разумея под "мечом" все, что может служить для сопротивления насилию, богослов наш понимает слова о суме как заповедь приобретать все нужное для поддержания жизни. Таким образом этот толкователь божественных велений вооружает апостолов копьями, баллистами, пращами и бомбардами и в таком виде посылает на проповедь крестного распятия. Он даже спешит нагрузить их сундуками, баулами и котомками, дабы никогда не уходили они с постоялого двора, не пообедав. И не пришло в голову этому человеку, что меч, который надо было покупать за такую дорогую цену, Христос вскоре повелел вложить в ножны и что апостолы, сколько известно, никогда не обращались к мечам и считали для обороны от насилия язычников, а они, конечно, не преминули бы сделать это, если бы так заповедал им сам Христос.

Есть еще один богослов⁴ -- прославленный ученый, коего я не назову по причине моего глубокого к нему уважения. Он из палаток, о которых упоминает пророк Аввакум в стихе "Сотряслись кожи шатров Мадиямских"⁶, делает кожу, содранную со св. Варфоломея. Недавно я сама присутствовала на одном диспуте у богословов -- я у них частая гостя. Там кто-то задал вопрос: как же в конце концов обосновать при помощи Священного писания необходимость жечь еретиков огнем, а не переубеждать их при помощи словопрений? Тут поднялся один суровый старик, истый богослов, если судить по насупленным бровям, и с великим раздражением отвечал, что так-де предписано Павлом, который сказал: "Еретика после первого и второго вразумления от праведных отврати"⁶. Так как он несколько раз повторил Эти слова с нарочитым подчеркиванием, то многие стали недоумевать, что такое стряслось с этим человеком, но он тотчас же пояснил: "От врат праведных гони. Разумеет же апостол врата жизни". Кое-кто засмеялся, но немало, однако, нашлось и таких, которым подобное толкование показалось вполне богословским. Другие заспорили; тогда выступил второй

богослов, грозный и страшный на вид, писатель с непререкаемым авторитетом, и поддержал товарища: "Слушайте, -- сказал он, -- в Писании сказано: "А злодея того должно предать смерти" ⁷. Всякий же еретик есть злодей. Следственно -- и т. д." Все изумились тонкой изобретательности этого человека и примкнули к его мнению. Никому и в голову не пришло, что закон этот относится только к гадалщикам, Заклинателям и волхвам, которых евреи на языке своем называют *мехашефим*, а иначе пришлось бы карать смертью за блуд и пьянство.

ГЛАВА LXV

Воистину глупо было бы приводить и далее подобные примеры, столь многочисленные, что не вместить их даже в книги Хрисипповы или Дидимовы¹. Я хотела лишь доказать, что ежели такие вольности дозволяются нашим божественным докторам, то тем более извинительно мне, *богослову липовому*, допустить в цитатах кое-какие неточности. Итак, возвращаясь к Павлу: "Ибо вы, -- говорит он, -- люди разумные, охотно терпите неразумных"². К последним причисляет он самого себя. И далее: "Примите меня, хотя как неразумного" и "Что скажу, то скажу не в господу, а как бы в неразумии"³. И в ином месте: "Мы, -- говорит, -- безумны Христа ради"⁴. Слышали, как хвалит глупость такой неопровержимый автор? Он даже провозглашает ее вещь самонужнейшей и полезнейшей: "Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым"⁵. И у Луки Иисус называет "несмысленными" двух учеников, которых повстречал на дороге⁶. Но еще удивительнее, что святой Павел в какой-то мере приписывает глупость самому богу: "Немудрое божие, -- говорит он, -- премудрее человеков"⁷. Согласно толкованию Оригена⁸, "немудрое божие" не является таковым лишь во мнении людей. То же самое утверждает он и относительно следующего стиха: "Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть"⁹. Впрочем, чего ради мне мучиться, подбирая столько свидетельств, если в боговдохновенных псалмах сам Христос прямо говорит отцу: "Ты знаешь безумие мое"¹⁰.

Отнюдь не случайно дураки столь угодны богу. Я полагаю, что это объясняется теми же причинами, по которым люди чрезмерно благоразумные бывают подозрительны и ненавистны великим государям; Цезарь страшился Брута и Кассия, но не испытывал никакого страха перед забулдыгой Антонием¹¹, Нерон ненавидел Се-неку¹², Дионисий -- Платона¹³. И, напротив, монархи всегда жаловали людей невежественных и тупых. Так и Христос всегда осуждал *мудрецов*, кичащихся своим благоразумием. Об этом свидетельствует Павел, совершенно ясно говоря: "Но бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых"¹⁴. И еще: "Благоугодно было богу юродством проповеди спасти верующих"¹⁵, тогда как спасти их при помощи мудрости он не мог. И сам господь недвусмысленно подтвердил Это, возгласив устами пророка: "Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну"¹⁶. Христос восхваляет бога, скрывшего тайну спасения от мудрых и открывшего ее малым сим, иначе говоря -- глупым, ибо в греческом подлиннике вместо "малых сих" стоит: *неразумные*, кои противополагаются *мудрецам*. Подобным же образом надо толковать и то, что Христос в Евангелии повсюду обличает фарисеев, книжников и законников, но заботится и печется о невежественной толпе. Что иное означают слова: "Горе вам, книжники и фарисеи"¹⁷, если не "Горе вам, мудрые"? Всего

больше любил он проводить время с детьми, женщинами и рыбаками. Да и среди бессловесных животных по душе Христу были те, которые всего далее от лисьей хитрости: ему угодно было воссесть на осла, тогда как он мог, если бы пожелал, безнаказанно оседлать и львиную спину. Дух святой снизошел на него в виде голубя, а не орла или коршуна. В Священном писании часто упоминаются молодые олени и ягнята. Вспомните также, что своих верных, призванных к бессмертной жизни, Христос называет "овцами". А ведь каждому известно, что нет на земле существа глупее овцы; сошлюсь в том хотя бы на Аристотеля, который утверждает, что по причине бестолковости этого животного его именем называют людей глупых и тупоумных. И, однако, Христос провозгласил себя пастухом этого стада и даже радовался, когда его самого именовали агнцем. Указывая на него, Иоанн сказал: "Вот агнец божий"¹⁸. О том же многократно упоминается и в Апокалипсисе.

Не доказывает ли это, что все смертные -- глупцы, в том числе -- и благочестивейшие из смертных? Сам Христос, хотя в нем воплотилась мудрость отца, стал тем не менее некоторым образом глупым, дабы помочь глупости людей: усвоив человеческую природу, он и характером сделался подобен человеку. Равным образом стал он грешником, чтобы врачевать грех, и врачевал он его не чем иным, как юродством креста при помощи невежественных глупцов -- апостолов. Последним он усердно проповедовал неразумие и предостерегал против мудрости, указуя им в виде примера на детей, лилии, горчичные зерна и маленьких птичек -- то есть нечто глупое, чуждое здравого смысла, живущее по внушениям одной природы, без всяких забот и без всяких хитростей. Далее он не велел своим ученикам обдумывать речи, которые они будут держать перед властями и правителями, не позволял испытывать времена и сроки, очевидно для того, чтобы они ни в чем не полагались на собственное свое суждение, но единственно на него одного уповали всею душою. В том же смысле разуместь должно и то, что бог, сотворив мир, запретил вкушать от древа познания добра и Зла, словно познание -- смертельный яд для блаженства. Также и Павел открыто хулит знание, как вещь пагубную и ведущую к надменности. Я полагаю, что по его примеру св. Бернард назвал гору, на которой засел Люцифер, Горю Познания. Быть может, не следует упускать здесь из виду и следующего довода: Глупость до такой степени угодна всевышнему, что ради нее одной отпускаются все прегрешения, меж тем как ни один мудрец этого не удостоен. Вот почему люди, хотя грешат с полным пониманием того, что делают, но, умоляя о прощении, ищут покровительства Глупости и пользуются ею как отговоркой. Так, Аарон, сколько помнится, в Книге Чисел, просит у Моисея помилования, говоря: "Господин мой, не поставь нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили"¹⁹. Так и Саул оправдывается перед Давидом: "Безумно поступал я и очень много погрешал"²⁰. Да и сам Давид взывает к господу: "Ныне молю тебя, господи, прости грех раба твоего, ибо весьма неразумно поступил я"²¹. Он был уверен, что не получит отпущения, если не сошлется на глупость свою и неведение. Но вот еще более разительное подтверждение моей мысли. Когда Христос молился на кресте за своих врагов: "Отче, прости им", -- он не нашел для них иного оправдания, кроме неразумия: "Ибо не ведают, -- сказал, -- что творят"²². Равным образом и Павел писал к Тимофею: "Помилован я богом, потому что так поступал по неведению, в неверии"²³. Но ведь "поступал по неведению" и значит: действовал по глупости, а не по злобе душевной. Апостол "помилован" лишь потому, что прибег к покровительству Глупости. В мою пользу свидетельствует и вдохновенный псалмопевец, о чем я позабыла упомянуть в надлежащем месте: "Грехов юности моей и преступлений неведения моего не вспоминай"²⁴. Заметьте, пожалуйста, что он ссылается на два смягчающих обстоятельства: на юность, чьей подругою я всегда бываю, и на невежество. Обратите также внимание на то, что он говорит о преступлениях своего неведения во множественном числе, дабы мы тем лучше могли уразуметь

всю великую силу Глупости.

ГЛАВА LXVI

Не зарываясь в бесчисленные подробности, скажу кратко, что христианская вера, по-видимому, сродни некоему виду глупости и с мудростью совершенно несовместна. Ежели хотите доказательств, то вспомните прежде всего, что ребята, женщины, старики и юродивые особенно любят церковные обряды и постоянно становятся всех ближе к алтарю, покорные велениям своей природы. Во-первых, позвольте спросить: кто такие были основатели христианства? Люди удивительно простодушные, жестокие враги всякой учености. Засим, среди глупцов всякого рода наиболее безумными кажутся те, кого воодушевляет христианское благочестие. Они расточают свое имение, не обращают внимания на обиды, позволяют себя обманывать, не знают различия между друзьями и врагами, в ужасе бегут от наслаждений, предаются постам, бдениям, трудам, презирают жизнь и стремятся единственно к смерти, коротко говоря, -- во всем действуют наперекор здравому смыслу, словно душа их обитает не в теле, но где-то в ином месте. Что ж это такое, если не помешательство? Удивляться ли после того, что апостолов принимали порою за пьяных и что Павел показался безумным судье Фесту¹. Но поскольку я уж начала рассуждать, то продолжу и докажу вам, что блаженство, которого христиане стараются достигнуть ценою стольких мучений и трудов, есть не иное что, как некая разновидность безумия. Не гневайтесь на мои слова и лучше постарайтесь уразуметь их.

Во-первых, христиане согласны с учениками Платона в том, что душа человеческая скована цепями тела, увязла в нем, словно в грязи, и именно поэтому не способна постигнуть истину и насладиться ею. Сам Платон определил философию как размышление о смерти, ибо подобно этой последней философия поднимает душу над видимыми, телесными вещами. Мы привыкли называть человека здоровым, пока душа его должным образом пользуется телесными органами; когда же, порвав свои путы, она пытается обрести свободу и словно замышляет побег из темницы, то мы называем такое состояние помешательством. Если означенные явления вызваны болезнью либо повреждением внутренних органов, никто не усомнится в том, что это безумие. И, однако, мы видим, что люди, охваченные подобным безумием, предсказывают будущее, знают чужеземные языки и науки, которых никогда прежде не изучали, и вообще представляются во многих отношениях существами как бы божественными. Все это, без сомнения, приходится объяснять тем, что душа, частично освобожденная от власти тела, проявляет свою природную силу. Здесь же, как я полагаю, таится и причина того, что умирающие, как бы вдохновленные божественным дуновением, изрекают порой поразительные вещи. Если благочестие и не вполне совпадает с вышеописанной разновидностью безумия, то все же столь близко с нею соприкасается, что большинство людей почитает набожность простым помешательством, особенно когда видит тех немногих, которые всей своей жизнью столь резко отличаются от прочих смертных. Сходным образом в известной аллегории Платона люди, сидящие скованными в пещере, созерцают только тени и подобия вещей. Один из узников выбегает наружу, видит самые вещи и, воротившись обратно в пещеру, начинает убеждать остальных, что они заблуждаются и ничего не знают, кроме теней. Мудрец скорбит об их безумии, ибо они упорно держатся за свою ошибку, а они в свой черед издеваются над ним, как над помешанным, и изгоняют его. Вот точно так же люди, занятые одними телесными вещами, склонны думать, что ничего другого не существует.

Напротив, благочестивые праведники презирают все, имеющее отношение к телу, и стремятся лишь к созерцанию невидимого мира. Первые больше всего помышляют о собирании богатств, затем -- об удовлетворении своих телесных нужд и лишь в самую последнюю очередь -- о своей душе, если только вообще допускают ее существование, веря лишь в то, что доступно глазу. Вторые поступают как раз наоборот: прежде всего думают о боге, субстанции простейшей и неизменной, затем помышляют о своей душе, которая всего ближе к божеству, но не желают заботиться о теле, презирают деньги, словно мякину, и, едва завидев их, обращаются в бегство. Если иногда, по необходимости, им приходится заниматься житейскими делами, они едва справляются с отвращением, относясь к своей собственности так, точно она не принадлежит им вовсе. Даже в малых вещах разительно сказывается различие между людьми, живущими по уставам мира сего, и благочестивыми праведниками.

Хотя все чувственные способности зависят от тела, есть между ними такие, которые кажутся грубее других. Таковы осязание, слух, зрение, обоняние, вкус. Другие -- гораздо более независимы, например, память, рассудок, воля. Праведники, со всею силою души устремляясь к тому, что не имеет ничего общего с внешним миром, становятся тупыми и бесчувственными к телесным впечатлениям. И, напротив, заурядные люди наибольшее значение придают внешним чувствам и наименьшее -- внутренним. Этим объясняется, между прочим, и то, что многие святые мужи, случалось, пили вместо вина масло². Среди страстей и душевных чувствований есть также такие, которые кажутся особенно телесными, как, например, плотское вожделение, голод, сонливость, гнев, гордость, зависть. Праведники ведут с ними непримиримую войну, а толпа уверена, что без них и прожить невозможно. Кроме того, существуют страсти, так сказать, нейтральные, словно бы естественные; таковы любовь к отечеству, нежность к детям, к родителям, к друзьям. Толпа платит всему этому немалую дань, но праведники всячески стараются изгнать из своей души все названные склонности или по крайней мере сообщают им духовный характер, так что даже отца своего любят уже не как отца (ибо что он породил на свет, кроме тела? да и тем обязан не себе самому, а богу-творцу), но как славного мужа, в коем отраженно сияет образ верховного разума, называемого ими верховным благом. Вне этого блага они не знают ничего, достойного любви и стремлений.

Этим правилом руководствуются люди благочестивые и во всех прочих житейских делах: ежели они не совсем презирают какую-либо видимую вещь, то все же ценят ее гораздо ниже того, что недоступно оку. Они различают плоть и дух даже в таинствах и в других церковных обрядах. Так, они не верят, в отличие от большинства людей, будто пост состоит только в воздержании от мяса и отказа от вечерней трапезы, но проповедуют пост духовный, заключающийся в умерщвлении страстей, подавлении гнева, и гордости, дабы дух, не удручаемый бременем плоти, мог с тем большей силой устремиться к познанию небесных благ. Так же мыслят они и об евхаристии: если обрядом причастия, говорят они, и не следует пренебрегать, то все же он не столь спасителен, как это обычно полагают. Он даже может сделаться вредным, если в нем не будет духа, то есть воспоминания о тех событиях, кои изображаются при помощи чувственных знамений. Знамения же напоминают нам о смерти Иисуса Христа, и христиане обязаны подражать этой смерти, укрощая, подавляя и словно погребая свои страсти, дабы воскреснуть для новой жизни и соединиться со Христом Иисусом, соединяясь в то же время друг с другом. Такова жизнь, таковы постоянные помышления праведников. Напротив, толпа не видит в богослужении ничего, кроме обязанности становиться поближе к алтарю, прислушиваться к гудению голосов и глазеть на обряды.

Не только в указанных мной для примера случаях, но и во всех обстоятельствах жизни убегают праведник от всего, что связано с телом, и стремится к вечному, невидимому и духовному. И так как отсюда рождаются

постоянные несогласия между ним и остальными людьми, он упрекает их в безумии, а они отвечают ему тем же. Я же полагаю, что название безумца больше подходит праведникам, нежели толпе.

ГЛАВА LXVII

Дабы это стало еще очевиднее, я, согласно моему обещанию, в немногих словах докажу, что награда, обещанная праведникам, есть не что иное, как своего рода помешательство. Еще Платон имел в виду нечто подобное, когда написал, что "неистовство дарует влюбленным наивысшее блаженство"¹. В самом деле, кто страстно любит другого, тот живет уже не в себе, но в любимом предмете и, чем более он от себя удаляется, дабы прилепиться душой к этому предмету, тем более ликует. Но когда душа словно бы покинула тело и уже не в силах управлять телесными членами, то как прикажете назвать такое состояние, если не исступлением? Это подтверждают и общераспространенные поговорки: "Он вне себя", "Он вышел из себя", "Он пришел в себя". Далее, чем совершеннее любовь, тем сильнее неистовство и тем оно блаженнее. А теперь задумаемся, какова та небесная жизнь, к которой с такими усилиями стремятся благочестивые сердца? Их дух, мощный и победоносный, должен поглотить тело. Ему тем легче будет совершить это, что тело, очищенное и ослабленное всей предыдущей жизнью, уже подготовлено к подобному превращению. А затем и самый дух этот будет поглощен бесконечно более могущественным верховным разумом, и тогда человек, оказавшись всецело вне себя, ощутит несказуемое блаженство и приобщится к верховному благу, все в себя вобравшему. Хотя блаженство это может стать совершенным лишь в миг, когда усопшие души, соединившись с прежними своими телами, получают бессмертие, однако, поскольку жизнь праведников есть лишь тень вечной жизни и непрестанное размышление о ней, им позволено бывает заранее отвесть обещанной награды и ощутить ее благоухание. И одна эта малая капля из источника вечного блаженства превосходит все телесные наслаждения в их совокупности, все утехи, доступные смертным. Вот в какой мере духовное превосходит телесное, а невидимое возвышается над видимым! Именно об этом вещал пророк, говоря: "Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил бог любящим его"². Такова эта частица Мории, которая не отъемлется при разлучении с жизнью, но, напротив, безмерно возрастает. Эта малая капля трижды блаженной Глупости достается на земле лишь немногим. Они уподобляются безумцам, говорят несвязно, не обычными человеческими словами, но издавая звуки, лишённые смысла, и строят какие-то удивительные гримасы. Они то веселы, то печальны, то льют слезы, то смеются, то вздыхают и вообще постоянно пребывают вне себя. Очнувшись, они говорят, что сами не знают, где были -- в теле своем или вне тела, бодрствовали или спали; они не помнят, что слышали, что видели, что говорили, что делали, все случившееся представляется им как бы в дымке тумана или сновидения. Одно они знают твердо: беспамятствуя и безумствуя, они были счастливы. Поэтому они скорбят о том, что снова образумились, и ничего другого не желают, как вечно страдать подобного рода сумасшествием. Таково скудное предвкушение вечного блаженства.

ГЛАВА LXVIII

Впрочем, мне уже давно пора кончать: я *позабыла всякую меру и границу*. Ежели сказала я что-нибудь слишком, на ваш взгляд, дерзновенное, то вспомните, что это сказано Глупостью и вдобавок женщиной. Не забывайте также греческой пословицы: *"Часто глупец в неразумии метким обмолвится словом"*. Не знаю, Впрочем, как по-вашему: относится это к женщинам или нет? Вижу, что вы ждете от меня заключения. Но, право же, вы обнаруживаете крайнее недомыслие, если думаете, что я помню всю ту мешанину слов, которую рассыпала перед вами. Прежде говорили: *"Ненавижу памятливого сотрапезника"*. Я же скажу: *"Ненавижу памятливого слушателя"*. А посему будьте здоровы, рукоплещите, живите, пейте, достославные сопричастники таинств Мории.

Конец!

ЭРАЗМ И ЕГО "ПОХВАЛА ГЛУПОСТИ"

I

Для современного читателя знаменитый нидерландский гуманист Эразм Роттердамский (1469--1536) фактически "писатель одной книги" -- бессмертного "Похвального слова Глупости". Даже его "Домашние беседы", любимое чтение многих поколений, потускнели с ходом времени, потеряли свою былую остроту. Десять томов собрания сочинений Эразма, выпущенные еще в начале XVIII века, больше не переиздаются, и к ним обращаются только специалисты, изучающие культуру Возрождения и движение гуманизма, во главе которого стоял автор "Похвалы Глупости". Эразм Роттердамский -- более знаменитый, чем известный писатель.

Но такими же "авторами одной книги" остались для потомства и другие великие современники Эразма: корифей английского гуманизма Томас Мор и французского -- Франсуа Рабле. Время -- лучший критик -- не ошиблось в своем отборе. Причина такого рода литературной судьбы -- в особом характере мысли гуманистов Возрождения. Им присуще живое чувство глубокой взаимосвязи различных сторон жизненного процесса, та цельность взгляда на мир, при которой мысль не может ограничиться одним уголком действительности, одной ее стороной, но стремится дать картину всего общества, разрастаясь в своего рода энциклопедию жизни. Отсюда "универсальный" жанр "Неистового Роланда" Ариосто, "Гаргантюа и Пантагрюэля" Рабле, "Дон-Кихота" Сервантеса, "Утопии" Мора, а также "Похвального слова" Эразма. Мы называем эти произведения поэмой, романом или сатирой, хотя каждое из них слишком синтетично по характеру и само образует свой особый жанр. Форма здесь часто условна, фантастична или гротескна, на ней сказывается стремление выразить все, передать весь опыт времени в индивидуальном преломлении автора. Такое произведение, одновременно эпохальное и глубоко индивидуальное, как бы конденсирует в себе одно творчество писателя во всем его своеобразии и, сливаясь с именем творца, заслоняет для потомства все остальное его наследие.

Но для современников Эразма каждое его произведение было большим событием в культурной жизни Европы. Современники прежде всего пенили его, как ревностного популяризатора античной мысли, распространителя новых "гуманитарных" знаний. Его "Adagia" ("Поговорки"), собрание античных поговорок и крылатых слою, с которым он выступил в 1500 году, имело огромный успех. По замечанию одного гуманиста, Эразм в них "разболтал тайну мистерий"

эрудитов и ввел античную мудрость в обиход широких кругов "непосвященных". В остроумных комментариях к каждому изречению или выражению (напоминающих позднейшие знаменитые "Опыты" Ш.Монтеня), где Эразм указывает те случаи жизни, когда его уместно применять, уже сказывались ирония и сатирический дар будущего автора "Похвального слова". Уже здесь Эразм, примыкая к итальянским гуманистам XV века, противопоставляет выдохшейся средневековой схоластике живую и свободную античную мысль, ее пылкий независимый дух. Сюда же примыкают его "Aprophthegmata" ("Краткие изречения"), его работы по стилистике, поэтике, его многочисленные переводы греческих писателей на латынь -- международный литературный язык тогдашнего общества. Эразм отстаивал широкое светское образование -- и не только для мужчин, но и для женщин, он требовал реформы школьного обучения.

Его политическая мысль, воспитанная на традициях античного свободолюбия, проникнута отвращением ко всяким формам тирании, и в этом отвращении легко узнается Эразм из Роттердама, питомец городской культуры. "Христианский государь" Эразма появился в том же 1516 году, что и "Утопия" Т.Мора, и через два года после того, как Макиавелли закончил своего "Князя". Это три основных памятника социально-политической мысли эпохи, однако весь дух трактата Эразма прямо противоположен концепции Макиавелли. Эразм требует от своего государя, чтобы он правил не как самовольный хозяин, а как слуга народа, и рассчитывал на любовь, а не на страх, ибо страх перед наказанием не уменьшает числа преступлений. Воли монарха не достаточно, чтобы закон стал законом. В век нескончаемых войн Эразм, возведенный в ранг "советника империи" Карлом V (для которого он и написал своего "Христианского Государя"), не устает бороться за мир между государствами Европы. Его антивоенная "Жалоба Мира" была в свое время запрещена Сорбонной, но в наши годы появилась в новых переводах на французский и английский язык.

В XVI--XVIII веках читатели особенно ценили также религиозно-этический трактат Эразма "Руководство христианскому воину" (1504). Здесь, как и в ряде других произведений, посвященных вопросам нравственности и веры, Эразм борется за "евангельскую чистоту" первоначального христианства, против культа обрядов, против языческого поклонения святым, против формализма ритуала, против "внешнего христианства" -- всего того, что составляло основу могущества католической церкви. Признавая существенным для христианства лишь "дух веры", а не церемонию обряда, Эразм вступает в противоречие с ортодоксальной теологией. Богословские работы Эразма вызвали самые страстные и ожесточенные споры и давали противникам немало поводов обвинять его во всех ересьях.

Главным трудом своей жизни Эразм считал исправленное издание греческого текста Нового завета (1516) и его новый латинский перевод. Этим тщательным филологическим трудом, в котором текст священного писания освобожден от вкрапившихся на протяжении веков ошибок и произвольных толкований, Эразм нанес удар авторитету церкви и принятого ею канонического латинского текста Библии (так называемой "Вульгаты"). Еще существеннее то, что в комментариях к своему переводу и в так называемых "парафразах" (толкованиях) книг священного писания, применяя научные методы исторической критики (связь Библии с древнееврейскими нравами) и прямую интерпретацию (вместо аллегорической или казуистической, характерной для средневековых схоластов), подвергая сомнению аутентичность отдельных книг и выражений и обнажая противоречия в священном тексте, Эразм подготавливая почву для позднейшей рационалистической критики Библии.

Отвергая авторитеты позднесредневековой схоластики, он неустанно издавал труды первых отцов церкви. Отредактировать и издать девять томов сочинений св. Иеронима стоило Эразму, по его собственному замечанию, больше труда, чем автору их написать. Это обращение к первоисточникам было формой движения вперед, так как множило в умах сомнения в беспорядочности

установленных церковью догм, относительно которых, как оказывалось, во многом расходились и сами отцы церкви. Но тем самым Эразм обосновывал принцип широкой терпимости в вопросах веры, которые -- за исключением немногих самых общих положений -- должны были, по его мнению, стать частным делом каждого верующего, делом его свободной совести и разума. Призывая своих последователей переводить Библию на новые языки и оставляя за каждым верующим право разобраться в священном писании как единственном источнике веры, Эразм открывал доступ в святая святых богословия всякому христианину, а не только первосвященникам теологии.

Но это было подкопом под устои единой и монолитной церкви. "Очищенная" от языческого "внешнего христианства", обоснованная филологическим анализом, новая теология объективно расчищала путь деизму и вела к отказу от всякой догматики. Не удивительно, что в "эразмизме", осужденном церковью уже в XVI веке, католические и протестантские теологи находили и арианскую ересь (отрицание божественности Христа) и пелагианство (сомнение в спасении верой, в исключительной роли благодати). И хотя сам Эразм вполне искренне отстаивал свою ортодоксальность, его убеждение в бесплодности изощренных словопрений, его равнодушие к неразрешимым противоречиям в вопросе о триединстве, пресуществлении и т. д., к спорам о спасении верой или добрыми делами, его ирония по адресу всяких окончательных и общеобязательных суждений -- все это сеяло скепсис и подрывало основы церкви и христианства в целом.

Влияние Эразма на современников было огромным. Его иногда сравнивают с влиянием Вольтера в XVIII веке. Лучше всех других гуманистов Эразм оценил могучую силу книгопечатания, и его деятельность неразрывно связана с такими известными типографами XVI века, как Альд Мануций, Фробен, Бадий. С помощью печатного станка -- "почти божественного инструмента", как его называл Эразм, -- он выпускал в свет одно произведение за другим и руководил благодаря живым связям с гуманистами всех стран (о чем свидетельствуют одиннадцать томов его переписки) некоей "республикой гуманитарных наук", подобно тому, как в XVIII веке Вольтер возглавил просветительское движение. Десятки тысяч экземпляров книг Эразма были его оружием в борьбе с целой армией монахов и теологов, неустанно против него проповедовавших и отправлявших на костер его последователей.

Всей своей деятельностью, в особенности начиная с 1511 года, когда появляется "Похвальное слово Глупости", Эразм способствовал тому, что в его время "духовная диктатура церкви была сломлена" [*Маркс и Энгельс, Сочинения, т. XIV, М. -- Л. 1931, стр. 476*]. В XVI веке это сказалось прежде всего в возникновении протестантской церкви. Поэтому, когда в Германии вспыхнула реформация (1517), ее сторонники были уверены, что Эразм выступит в ее защиту и своим всеевропейским авторитетом укрепит реформаторское движение.

Несколько лет Эразм уклонялся от прямого ответа на этот волновавший всех современников вопрос. Но, наконец (1524), решительно разошелся с Лютером, заняв в религиозных распрях нейтральную позицию, которую сохранил до конца дней. За это он навлекает на себя обвинение в измене делу веры и насмешки как со стороны католиков, так и протестантов. В позиции Эразма впоследствии усматривали только нерешительность и недостаток смелости. Несомненно, личные качества Эразма, на которые наложили отпечаток условия его рождения и обстоятельства жизни [*Эразм был незаконнорожденным сыном бюргера. Пятно "бастарда", положение почти беглого монаха и скитания по чужим странам в известной мере определили его дипломатическую осторожность*], сыграли здесь известную роль. Но так же несомненно, что идеалы Эразма и Лютера -- последний во многом остался до конца питомцем схоластического богословия -- были слишком различны даже в вопросах реформы церкви, а тем более в общих вопросах нравственности и понимания жизни.

Об этом свидетельствует уже "Похвала Глупости", где свободная мысль гуманизма выходит далеко за пределы узкой тенденции протестантизма.

Со слов самого Эразма мы знаем, как возникла у него идея "Похвалы Глупости".

Летом 1509 года он покинул Италию, где провел три года, и направился в Англию, куда его приглашали друзья, так как им казалось, что в связи с восшествием на престол короля Генриха VIII открываются широкие перспективы для расцвета наук.

Эразму уже исполнилось сорок лет. Два издания его "Поговорок", трактат "Руководство христианскому воину", переводы древних трагедий доставили ему европейскую известность, но его материальное положение оставалось по-прежнему шатким (пенсии, которые он получал от двух меценатов, выплачивались крайне нерегулярно). Однако скитания по городам Фландрии, Франции и Англии и в особенности годы пребывания в Италии расширили его кругозор и освободили от педантизма кабинетной учености, присущего раннему германскому гуманизму. Он не только изучил рукописи богатых итальянских книгохранилищ, но и увидел жалкую изнанку пышной культуры Италии начала XVI века. Гуманисту Эразму приходилось то и дело менять свое местопребывание, спасаясь от междоусобиц, раздиравших Италию, от соперничества городов и тиранов, от войн папы с вторгшимися в Италию французами. В Болонье, например, он был свидетелем того, как воинственный папа Юлий II, в военных доспехах, сопровождаемый кардиналами, въезжал в город после победы над противником через брешь в стене (подражая римским цезарям), и это зрелище, столь неподобающее сану наместника Христа, вызвало у Эразма скорбь и отвращение. Впоследствии он недвусмысленно зафиксировал эту сцену в своей "Похвале Глупости" в конце главы о верховных первосвященниках.

Впечатления от пестрой ярмарки "повседневной жизни смертных", где Эразму приходилось выступать в роли наблюдателя и "смеющегося" философа Демокрита, теснились в его душе на пути в Англию, чередуясь с картинами близкой встречи с друзьями -- Т. Мором, Фишером и Колетом. Эразм вспоминал свою первую поездку в Англию, за двенадцать лет перед этим научные споры, беседы об античных писателях и шутки, которые так любил его друг Т. Мор.

Так возник необычайный замысел этого произведения, где непосредственные жизненные наблюдения как бы пропущены через призму античных реминисценций. Чувствуется, что госпожа Глупость, произносящая автопанегирик, уже читала "Поговорки", вышедшие за год до этого новым расширенным изданием в знаменитой типографии Альда Мануция в Венеции.

В доме Мора, где Эразм остановился по приезду в Англию, за несколько дней, почти как импровизация, было написано Это вдохновенное произведение. "Мория, -- по выражению одного нидерландского критика, -- родилась подобно ее мудрой сестре Минерве-Палладе": она вышла во всеоружии из головы своего отца.

Как и во всей гуманистической мысли и во всем искусстве Эпохи Возрождения -- той ступени развития европейского общества, которая отмечена влиянием античности--в "Похвале Глупости" встречаются и органически сливаются две традиции, -- и это видно уже в самом названии книги.

С одной стороны, сатира написана в форме "похвального слова", которую культивировали античные писатели. Гуманисты возродили эту форму и находили ей довольно разнообразное применение. Иногда их толкала к этому зависимость от меценатов, и сам Эразм не без отвращения, как он признается, написал в 1504 г. такой панегирик Филиппу Красивому, отцу будущего императора Карла V. В то же время, еще в древности искусственность этих льстивых упражнений риторике -- "нарумяненной девки", как называл ее Лукиан, -- породила жанр

пародийного похвального слова, образец которого оставил нам, например, тот же Лукиан ("Похвальное слово мухе"). К жанру иронического панегирика (наподобие известной в свое время "Похвалы Подагре" нюрнбергского друга Эразма В. Пиркгеймера) внешне примыкает и "Похвальное слово Глупости".

Но гораздо более существенно влияние Лукиана на универсально критический дух этого произведения. Лукиан был самым любимым писателем гуманистов, и Эразм, его почитатель, переводчик и издатель, не случайно заслужил у современников репутацию нового Лукиана, что означало для одних остроумного врага предрассудков, для других -- опасного безбожника. Эта слава закрепилась за ним после опубликования "Похвального слова".

С другой стороны, тема Глупости, царящей над миром, -- не случайный предмет восхваления, как обычно бывает в шуточных панегириках. Сквозной линией проходит эта тема через поэзию, искусство и народный театр XV--XVI века. Любимое Зрелище позднесредневекового и ренессансного города -- это карнавальные "шествия дураков", "беззаботных ребят" во главе с Князем Дураков, Папой-Дураком и Дурацкой Матерью, процессии ряженых, изображавших Государство, Церковь, Науку, Правосудие, Семью. Девиз этих игр -- "Число глупцов неисчислимо". Во французских "соти" ("дурачествах"), голландских фарсах или немецких "фастнахтшпилях" (масленичных играх) царила богиня Глупость: глупец и его собрат шарлатан представляли, в различных обликах, все разнообразие жизненных положений и состояний. Весь мир "ломал дурака". Эта же тема проходит и через литературу. В 1494 году вышла поэма "Корабль Дураков" немецкого писателя Себастьяна Брандта -- замечательная сатира, имевшая громадный успех и переведенная на ряд языков (в латинском переводе 1505 г. за 4 года до создания "Похвального слова Глупости" ее мог читать Эразм). Эта коллекция свыше ста видов глупости своей энциклопедической формой напоминает произведение Эразма. Но сатира Брандта -- еще полусредневековое, чисто дидактическое произведение. Намного ближе к "Похвалному слову" тон свободной от морализации жизнерадостной народной книги "Тиль Эйленшпигель" (1500). Ее герой под видом дурачка, буквально исполняющего все, что ему говорят, проходит через все сословия, через все социальные круги, насмехаясь над всеми слоями современного общества. Эта книга уже знаменует рождение нового мира. Мнимая глупость Тили Эйленшпигеля только обнажает Глупость, царящую над жизнью, -- патриархальную ограниченность и отсталость сословного и цехового строя. Узкие рамки этой жизни стали тесны для лукавого и жизнерадостного героя народной книги.

Гуманистическая мысль, провожая уходящий мир и оценивая рождающийся новый, в самых живых и великих своих созданиях часто близко стоит к этой "дурачающей" литературе -- и не только в германских странах, но и во всей Западной Европе. В великом романе Рабле мудрость одета в шутовской наряд. По совету шута Трибуле пантагрюэлисты отправляются за разрешением всех своих сомнений к оракулу Божественной Бутылки, ибо, как говорит Пантагрюэль, часто "иной дурак и умного научит". Мудрость трагедии "Король Лир" выражает шут, а сам герой прозревает лишь тогда, когда впадает в безумие. В романе Сервантеса идеалы старого общества и мудрость гуманизма причудливо переплетаются в голове полубезумного идальго.

Конечно, то, что разум вынужден выступать под шутовским колпаком с бубенчиками, -- отчасти дань сословно-иерархическому обществу, где критическая мысль должна надеть маску шутки, чтобы "истину царям с улыбкой говорить". Но эта форма мудрости имеет вместе с тем глубокие корни в конкретной исторической почве переходной эпохи.

Для народного сознания периода величайшего прогрессивного переворота, пережитого до того человечеством, не только многовековая мудрость прошлого теряет свой авторитет, поворачиваясь "глупой" своей стороной, но и складывающаяся буржуазная культура еще не успела стать привычной и естественной. Откровенный цинизм внеэкономического принуждения эпохи

первоначального накопления (вспомним близкую во многих отношениях "Похвальному слову Глупости" "Утопию" друга Эразма Т. Мора, опубликованную через пять лет после "Похвального слова") [*Современники чувствовали идейную и стилистическую связь "Утопии" с "Похвальным словом Глупости", и многие склонны были даже приписывать авторство критической первой части "Утопии", где разоблачена "глупость" нового порядка вещей, Эразму. Литературными своими корнями гуманистическое произведение Мора восходит, как известно, также к античности, но не к Лукиану, а к диалогам Платона и к коммунистическим идеям его "Государства". Но всем своим содержанием "Утопия" связана с современностью -- социальными противоречиями аграрного переворота в Англии. Более разительно сходство основной мысли: и здесь и там своего рода "мудрость наизнанку", сравнительно с господствующими представлениями. Всеобщее благоденствие и счастье разумного строя в "Утопии" достигается не благоразумным накоплением богатства, а отменой частной собственности, -- это звучало не меньшим парадоксом, чем речь Мории. Известно, что Эразм принимал участие в первых изданиях "Утопии", которую он снабдил предисловием*], разложение естественных связей между людьми представляется народному сознанию, как и гуманистам, тем же царством "неразумия". Глупость царит над прошлым и будущим. Современная жизнь -- их стык -- настоящая ярмарка дураков. Но и природа и разум также должны, -- если хотят, чтоб их голос был услышан, -- натянуть на себя шутовскую маску. Так возникает тема "глупости, царящей над миром". Она означает для эпохи Возрождения здоровое недоверие ко всяким отживающим устоям и догмам, насмешку над всяким претенциозным доктринерством и косностью, как залог свободного развития человека и общества.

В центре этой "дурачествующей литературы" как ее наиболее значительное произведение в лукиановской форме стоит книга Эразма. Не только содержанием, но и манерой освещения она передает колорит своего времени и его угол зрения на жизнь.

III

Композиция "Похвалы Глупости" отличается внутренней стройностью, несмотря на некоторые отступления и повторения, которые разрешает себе Мория, выкладывая в непринужденной импровизации, как и подобает Глупости, то, "что в голову взбрело". Книга открывается большим вступлением, где Глупость сообщает тему своей речи и представляется аудитории. За этим следует первая часть, доказывающая "общечеловеческую", универсальную власть Глупости, коренящуюся в самой основе жизни и в природе человека. Вторую часть составляет описание различных видов и форм Глупости -- ее дифференциация в обществе от низших слоев парода до высших кругов знати. За этими основными частями, где дана картина жизни, как она есть, следует заключительная часть, где идеал блаженства -- жизнь, какую она должна быть, -- оказывается тоже высшей формой безумия вездесущей Мории [*В первоначальном тексте "Похвального слова" нет никаких подразделений: принятое деление на главы не принадлежит Эразму и появляется впервые в издании 1765 года*].

Для новейшего читателя, отделенного от аудитории Эразма веками, наиболее живой интерес представляет, вероятно, первая часть "Похвального слова", покоряющая неувыдаемой свежестью парадоксально заостренной мысли и богатством едва уловимых оттенков. Глупость неопровержимо доказывает свою власть над всей жизнью и всеми ее благами. Все возрасты и все чувства, все формы связей между людьми и всякая достойная деятельность обязаны ей своим существованием и своими радостями. Она -- основа всякого процветания и счастья. Что это -- в шутку или всерьез? Невинная игра ума для развлечения

друзей или пессимистическое "опровержение веры в разум"? Если это шутка, то она, как сказал бы Фальстаф, зашла слишком далеко, чтобы быть забавной. С другой стороны, весь облик Эразма не только как писателя, но и как человека -- общительного, снисходительного к людским слабостям, хорошего друга и остроумного собеседника, человека, которому ничто человеческое не было чуждо, любителя хорошо поесть и тонкого ценителя книги, -- весь облик этого гуманиста, во многом как бы прототипа Пантагрюэля Рабле [*Рабле переписывался со своим старшим современником Эразмом и в письме к нему от 30 ноября 1532 года -- это год создания "Пантагрюэля"!* -- называл его своим "отцом", "источником всякого творчества нашего времени"], исключает безрадостный взгляд на жизнь, как на сцепление глупостей, где мудрецу остается только, по примеру Тимона, бежать в пустыню (гл. XXV).

Сам автор (в предисловии и в позднейших письмах) дает на этот вопрос противоречивый и уклончивый ответ, считая, очевидно, что *sapienti sat*--"мудрому достаточно" и читатель сам в состоянии разобраться. Но если кардиналы забавлялись "Похвальным словом", как шутовской выходкой, а папа Лев X с удовольствием отмечал: "Я рад, что наш Эразм тоже иногда умеет доказываться", то некоторые схоласты сочли нужным выступить "в защиту" разума, доказывая, что раз бог создал все науки, то "Эразм, приписывая эту честь Глупости, кощунствует". (В ответ Эразм иронически посвятил этому "защитнику разума", некоему Ле Куртурье, две апологии.) Даже среди друзей кое-кто советовал Эразму для ясности написать "палинодию" (защиту противоположного тезиса), что-нибудь вроде "Похвалы Разуму" или "Похвалы Благодати"... Не было недостатка, разумеется, и в читателях вроде Т. Мора, оценивших юмор мысли Эразма. Любопытно, что и новейшая буржуазная критика на западе стоит перед той же дилеммой, но -- в соответствии с реакционными тенденциями истолкования культуры гуманизма и Возрождения, характерными для модернистских работ -- "Похвала Глупости" все чаще интерпретируется в духе христианской мистики и прославления иррационализма.

Однако заметим, что эта дилемма никогда не существовала для непредубежденного читателя, который всегда видел в произведении Эразма под лукавой пародийной формой защиту жизнерадостного свободомыслия, направленную против невежества во славу человека и его разума. Именно поэтому "Похвальное слово Глупости" и не нуждалось в дополнительной "палинодии" типа "Похвалы Разуму" [*Любопытно заглавие одного французского перевода "Слова", вышедшего в 1715 году: "Похвальное слово Глупости" -- произведение, которое правдиво представляет, как человек из-за глупости потерял свой облик, и в приятной форме показывает, как вновь обрести здравый смысл и разум*].

Через всю первую "философскую" часть речи проходит сатирический образ "мудреца", и черты этого антипода Глупости оттеняют основную мысль Эразма. Отталкивающая и дикая внешность, волосатая кожа, дремучая борода, облик преждевременной старости (гл. XVII). Строгий, глазастый, на пороки друзей преждевременной старости (гл. XVII). Строгий, глазастый, на пороки друзей зоркий, в дружбе пасмурный, неприятный (гл. XIX). На пиру угрюмо молчит и всех смущает неуместными вопросами. Одним своим видом портит публике всякое удовольствие. Если вмешается в разговор, напугает собеседника не хуже, чем волк. Гели надо что-либо купить или сделать -- это тупой чурбан, ибо он не знает обычаев. В разладе с жизнью рождается у него ненависть ко всему окружающему (гл. XXV). Враг всяких природных чувствований, некое мраморное подобие человека, лишённое всех людских свойств. Не то чудовище, не то привидение, не знающее ни любви, ни жалости, подобно холодному камню. От него якобы ничто не ускользает, он никогда не заблуждается, все тщательно взвешивает, все знает, всегда собой доволен; один он свободен, он -- все, но лишь в собственных помышлениях. Все, что случается в жизни, он порицает, во всем усматривая безумие. Не печалится о друге, ибо сам никому не друг. Вот он каков, этот совершенный мудрец! Кто не предпочтет ему последнего дурака из простонародья (гл. XXX) и т. д.

Это законченный образ схоласта, средневекового кабинетного ученого, заgrimированный -- согласно литературной традиции этой речи -- под античного мудреца-стоика. Это рассудочный педант, ригорист и аскет, принципиальный враг человеческой природы. Но с точки зрения живой жизни его книжная обветшалая мудрость -- скорее абсолютная глупость.

Все многообразие конкретных человеческих интересов никак не сведешь к одному только знанию, а тем более к отвлеченному, оторванному от жизни книжному знанию. Страсти, желания, поступки, стремления, прежде всего стремление к счастью, как основа жизни, более первичны, чем рассудок и если рассудок противопоставляет себя жизни, то его формальный антипод -- глупость -- совпадает со всяким началом жизни. Эразмова Мория есть поэтому сама жизнь. Она синоним подлинной мудрости, не отделяющей себя от жизни, тогда как схоластическая "мудрость" -- порождение подлинной глупости.

Речь Мории в первой части внешне как бы построена на софистической подмене абстрактного отрицания конкретной положительной противоположностью. Страсти не есть разум, желание не есть разум, счастье--не то, что разум, следовательно, все это -- нечто неразумное, то есть Глупость (по приему "не белое, следовательно -- черное"). Мория здесь пародирует софистику схоластических аргументации. Глупость, поверив "тупому чурбану", "некому мраморному подобию человека", что он и есть подлинный мудрец, а вся жизнь человеческая--не что иное, как забава Глупости (гл. XXVII), попадает в заколдованный круг известного софизма о критянина, который утверждал, что все жители Крита -- лгуны. Через 100 лет эта ситуация повторится в первой сцене шекспировского "Макбета", где ведьмы выкрикивают: "Прекрасное -- это гнусное, гнусное -- прекрасное" (трагический аспект той же мысли Эразма о страстях, царящих над человеком). Доверие к пессимистической "мудрости" и здесь и там подорвано уже самым рангом этих прокуроров человеческой жизни. Чтобы вырваться из заколдованного круга, надо отбросить исходный тезис, где "мудрость" противопоставляет себя "неразумной" жизни.

Мория первой части -- это сама Природа, которой нет нужды доказывать свою правоту "крокодилитами, соритами, рогатыми силлогизмами" и прочими "диалектическими хитросплетениями" (гл. XIX). Не категориям логики, а желанию люди обязаны своим рождением -- желанию "делать детей" (гл. XI). Желанию быть счастливыми люди обязаны любовью, дружбой, миром в семье и обществе. Воинственная угрюмая "мудрость", которую посрамляет красноречивая Мория,-- это псевдорационализм средневековой схоластики, где рассудок, поставленный на службу вере, педантически разработал сложнейшую систему регламентации и норм поведения. Аскетическому рассудку дряхлеющего средневековья, старческой скудеющей мудрости опекунов жизни, почтенных докторов теологии противостоит Мория -- новый принцип Природы, выдвинутый гуманизмом Возрождения. Этот принцип отражал прилив жизненных сил в европейском обществе в момент рождения новой буржуазной эры.

Жизнерадостная философия речи Мории часто вызывает в памяти раннюю ренессансную новеллистику, комические ситуации которой как бы обобщены в сентенциях Глупости. Но еще ближе к Эразму (в особенности своим тоном) роман Рабле. И как в "Гаргантюа и Пантагрюэле" "вино" и "знание", физическое и духовное, -- неразрывны, как две стороны одного и того же, так и у Эразма наслаждение и мудрость идут рука об руку. Похвала Глупости -- это похвала разуму жизни. Чувственное начало природы и мудрость не противостоят друг другу в цельной гуманистической мысли Возрождения. Стихийно-материалистическое чувство жизни уже преодолевает христианский аскетический дуализм схоластики. Но, далекое от законченной систематизации, оно еще не пришло к тому односторонне рассудочному и абстрактному пониманию жизни, отвергающему свободные и яркие краски, о котором говорят Маркс и Энгельс, характеризуя в лице Гоббса материализм XVII века, как "враждебный человеку" [Маркс и Энгельс, *Сочинения, Издание второе, т. 2, М... 1955, стр.*

143].

Наоборот, Мория Эразма -- субстанция жизни в первой части речи -- благоприятна для счастья, снисходительна и "на всех смертных равно изливает свои благодеяния". Она, как материя Бэкона, "улыбается своим поэтическим чувственным блеском всему человеку" [Там же].

Как в философии Бэкона "чувства непогрешимы и составляют источник всякого знания", а подлинная мудрость ограничивает себя "применением рационального метода к чувственным данным", так и у Эразма чувства, -- порождения Мории, -- страсти и волнения (то, что бэкон называет "стремлением", "жизненным духом") направляют, служат хлыстом и шпорами доблести и побуждают человека ко всякому доброму делу (гл. XXX).

Мория, как "поразительная мудрость природы" (гл. XXII), Это доверие жизни к самой себе, противоположность безжизненной мудрости схоластов, которые навязывают жизни свои предписания. Поэтому ни одно государство не приняло законы Платона, и только естественные интересы (например, жажда славы) образовали общественные учреждения. Глупость создает государство, поддерживает власть, религию, управление и суд (гл. XXVII). Жизнь в своем основании -- это не простота геометрической линии, но игра противоречивых стремлений. Это театр, где выступают страсти и каждый играет свою роль, а неуживчивый мудрец, требующий, чтобы комедия не была комедией, -- это сумасброд, забывающий основной закон пиршества: "Либо пей, либо -- вон" (гл. XXIX). Раскрепощающий, охраняющий молодые побеги жизни от вмешательства "непрощенной мудрости" пафос мысли Эразма обнаруживает характерное для гуманизма Возрождения доверие к свободному развитию, родственное идеалу жизни в Телемской обители у Рабле с его девизом "Делай что хочешь". Мысль Эразма, связанная с началом эры буржуазного общества, еще далека от позднейшей (XVII век) идеализации неограниченной политической власти, как руководящего и регламентирующего центра общественной жизни. И сам Эразм держался вдали от "пышного ничтожества дворов" (как он выражается в одном из своих писем), а должность "королевского советника", которой его пожаловал император Карл V, была не более, чем почетной и доходной синекурой. И недаром Эразм из Роттердама, бюргер по происхождению, достигнув европейской славы, отвергает лестные приглашения монархов Европы, предпочитая независимую жизнь в "вольном городе" Базеле или в нидерландском культурном центре Лувене. Традиции независимости, которую отстаивают города его родной страны, несомненно, питают в известной мере взгляды Эразма. Философия его Мории коренится в исторической обстановке еще не победившего абсолютизма.

Эту философию пронизывает стихийная диалектика мысли, в которой дает себя знать объективная диалектика исторического переворота во всех сферах культуры. Все начала перевернуты и обнаруживают свою изнанку: "Любая вещь имеет два лица... и лица эти отнюдь не схожи одно с другим. Снаружи как будто смерть, а загляни внутрь -- увидишь жизнь, и наоборот, под жизнью скрывается смерть, под красотой -- безобразие, под изобилием -- жалкая бедность, под позором -- слава, под ученостью -- невежество, под мощью -- убожество, под благородством -- низость, под весельем -- печаль, под преуспеянием -- неудача, под дружбой -- вражда, под пользой -- вред" (гл. XXIX). Официальная репутация и подлинное лицо, видимость и сущность всего в мире противоположны. Мория природы на самом деле оказывается истинным разумом жизни, а отвлеченный разум официальных "мудрецов" -- это безрассудство, сущее безумие. Мория--это мудрость, а казенная "мудрость" -- это худшая форма Мории, подлинная глупость. Чувства, которые, если верить философам, нас обманывают, приводят к разуму, практика, а не схоластические писания -- к знанию, страсти, а не стоическое бесстрашие -- к доблести. Вообще глупость ведет к мудрости (гл. XXX). Уже с заголовка и с посвящения, где сближены "столь далекие по существу" Мория и Томас Мор, Глупость и гуманистическая мудрость, вся парадоксальность "Похвального слова" коренится

в диалектическом взгляде, согласно которому все вещи сами по себе противоречивы и "имеют два лица". Всем своим очарованием философский юмор Эразма обязан этой живой диалектике.

Жизнь не терпит никакой односторонности. Поэтому рассудочному "мудрецу"-доктринеру, схоласту, начетчику, который жаждет все подогнать под бумажные нормы и везде суется с одним и тем же мерилом, нет места ни на пиру, ни в любовном разговоре, ни за прилавком. Веселье, наслаждение, практика житейских дел имеют свои особые законы, его критерии там непригодны. Ему остается лишь самоубийство (гл. XXXI). Односторонность отвлеченного принципа убивает все живое, ибо не мирится с многообразием жизни.

Поэтому пафос произведения Эразма направлен прежде всего против ригоризма внешних формальных предписаний, против доктринерства начетчиков-"мудрецов". Вся первая часть речи построена на контрасте живого древа жизни и счастья и сухого древа отвлеченного знания. Эти непримиримые всезнающие стоики (читай: схоласты, богословы, духовные "отцы народа"), эти чурбаны готовы все подогнать под общие нормы, отнять у человека все радости. Но всякая истина конкретна. Всему свое место и время. Придется этому стоику отложить свою хмурую важность, покориться сладостному безумию, если он захочет стать отцом (гл. XI). Рассудительность и опыт подобают зрелости, но не детству. "Кому не мерзок и не кажется чудовищем мальчик с умом взрослого человека?" Беспечности, беззаботности люди обязаны счастливой старостью (гл. XIII). Игры, прыжки и всякие "дурачества" -- лучшая приправа пиров: здесь они на своем месте (гл. XVIII). И забвение для жизни так же благотворно, как память и опыт (гл. XI). Снисходительность, терпимость к чужим недостаткам, а не глазастая строгость -- основа дружбы, мира в семье и всякой связи в человеческом обществе (гл. XIX, XX, X XI).

Практическая сторона этой философии -- светлый широкий взгляд на жизнь, отвергающий все формы фанатизма. Этика Эразма примыкает к эвдемонистическим учениям античности, согласно которым в самой человеческой природе заложено естественное стремление к благу, -- тогда как навязанная "мудрость" полна "невыгод", безрадостна, пагубна, непригодна ни для деятельности, ни для счастья (гл. XXIV). Самолюбие (Филавтия) -- это как будто родная сестра Глупости, но может ли полюбить кого-либо тот, кто сам себя ненавидит? Самолюбие создало все искусства. Оно стимул всякого радостного творчества, всякого стремления к благу (гл. XXII). В мысли Эразма здесь как бы намечаются позиции Ларошфуко, нашедшего в самолюбии основу всего человеческого поведения и всех добродетелей. Но Эразм далек от пессимистического вывода этого моралиста XVII века и скорее предвосхищает материалистическую этику XVIII века (например, учение Гельвеция о творческой роли страстей). Филавтия у Эразма--орудие "поразительной мудрости природы", без самолюбия "не обходится ни одно великое дело", ибо, как утверждает Панург у Рабле, человек стоит столько, во сколько сам себя ценит. Вместе со всеми гуманистами Эразм разделяет веру в свободное развитие человека, но он особенно близок к простому здравому смыслу. Он избегает чрезмерной идеализации человека, фантастики его переоценки, как односторонности. Филавтия тоже имеет "два лица". Она стимул к развитию, но она же (там, где не хватает даров природы) -- источник самодовольства, а "что может быть глупее... самолюбования?"

Но эта -- собственно сатирическая -- сторона мысли Эразма развивается больше во второй части речи Мории.

Вторая часть "Похвального слова" посвящена "различным видам и формам" Глупости. Но легко заметить, что здесь незаметно меняется не только предмет, но и смысл, влагаемый в понятие "глупость", характер смеха и его тенденция. Меняется разительным образом и самый тон панегирика. Глупость забывает свою роль, и вместо того чтобы восхвалять себя и своих слуг, она начинает возмущаться служителями Мории, разоблачать и бичевать. Юмор переходит в сатиру.

Предмет первой части это "общечеловеческие" состояния:

различные возрасты человеческой жизни, многообразные и вечные источники наслаждения и деятельности, коренящиеся в человеческой природе. Мория здесь совпадала поэтому с самой природой и была лишь условной Глупостью -- глупостью с точки зрения отвлеченного рассудка. Но все имеет свою меру, и одностороннее развитие страстей, как и сухая мудрость, переходит в свою противоположность. Уже глава XXXV, прославляющая счастливое состояние животных, которые не знают никакой дрессировки и подчиняются одной природе, -- двусмысленна. Значит ли это, что человек не должен стремиться "раздвинуть границы своего жребия", что он должен уподобиться животным? Не противоречит ли это Природе, наделившей его интеллектом? Поэтому дураки, шуты, глупцы и слабоумные, хотя и счастливы, все же не убедят нас следовать скотскому неразумию их существования (гл. XXXV). "Похвала Глупости" незаметно переходит от панегирика природе к сатире на невежество, отсталость и косность общества.

Принцип естественности -- фермент всякой жизни. Но как у Ларошфуко "самолюбие и порок входят в состав всех добродетелей, словно яды в состав всех лекарств", -- все зависит от условий, дозы и меры, -- так и у Эразма Глупость входит в состав всего живого, но в своем одностороннем "раздувании и распухании" становится главной причиной окостенения, пороком и "безумием" существующего. Глупость переходит в различные маниакальные страсти: мания охотников, для которых нет большего блаженства, чем пение рогов и тьяканье собак, мания строителей, алхимиков, азартных игроков (гл. XXXIX), суеверов, паломников ко святым местам (гл. XL) и т. д. Тут Мория показывается вместе со своими спутниками: Безумием, Лениью, Разгулом, Непробудным сном, Чревоугодием и т. д. (гл. IX). И теперь мы вспоминаем, что она дочь паразитического Богатства и невежественной Юности, плод вожделения, зачатая во хмелю на пиру у богов (гл. VII), вскормленная нимфами, именуемыми Опьянение и Невоспитанность (гл. VIII). Эразм здесь выступает как предшественник просветителей XVIII века, но только ход его мысли, как и у других гуманистов (например, у Рабле или Шекспира), обнаруживает обратную последовательность: от открытия "природы" -- к рационалистической критике, от Руссо -- к Вольтеру.

В первой части речи Мория, как мудрость природы, гарантировала жизни разнообразие интересов и всестороннее развитие. Там она соответствовала гуманистическому идеалу "универсального" человека. Но безумствующая односторонняя Глупость создает постоянные застывшие формы и виды: сословие родовитых еотов, которые кичатся благородством происхождения (гл. XLII), или купцов-накопителей, -- породу всех глупее и гаже (гл. XLVII1), разоряющихся сутяг или наемных воинов, мечтающих разбогатеть на войне, бездарных актеров и певцов, ораторов и поэтов, грамматиков и правоведов. Филавтия, родная сестра Глупости, теперь показывает другое свое лицо. Она порождает самодовольство разных городов и народов, тщеславие тупого шовинизма (гл. XLIII). Счастье лишается своего объективного основания в природе, теперь оно уже всецело "зависит от нашего мнения о вещах... и покоится на обмане или самообмане" (гл. XLV). Как мания, Глупость уже субъективна, и всяк по-своему с ума сходит, находя в этом свое счастье. Мнимая "глупость" природы, Мория была связью всякого человеческого общества. Теперь Мория как доподлинная глупость предрассудков, наоборот, разлагает

общество.

Общефилософский юмор панегирика Глупости сменяется поэтому социальной критикой современных нравов и учреждений. Теоретическая и с виду шутовская полемика с античными стоиками, доказывающая, не без приемов софистического остроумия, "невыгоды" мудрости, уступает место колоритным и язвительным бытовым зарисовкам и ядовитым характеристикам "невыгодных" форм современной глупости. Впоследствии многие сатирические мотивы речи Глупости будут драматизированы в диалогах и своего рода маленьких комедиях, объединенных в "Домашних беседах" [*Диалоги "Кораблекрушение", "Неосторожный обет" и "Паломничество" осмеивают пилигримов и обычай давать обеты святым; "Рыцарь без лошади" -- кичливость дворян; "Славное ремесло" -- кондотьерство; "Разговор аббата и образованной женщины" -- обскурантизм монахов; "Похороны" -- их вымогательства и конкуренцию орденов и т. д.*].

Универсальная сатира Эразма здесь не щадит ни одного звания в роде людском. Глупость царит в народной среде, так же как и в придворных кругах, где у королей и вельмож не найти и пол-унции здравого смысла (гл. LV). Независимость позиций Эразма, народный <здравый смысл>, которому он всегда остается верен, сказывается также в издевательствах над глупцами собственного гуманистического лагеря, над "двуязычными" и "трехязычными" педантами, над буквоедами-филологами, грамматиками, раболепствующими перед любым словом древнего автора. Сам Эразм в 1517 году организовал в Лувене "Школу Трех Языков", где впервые изучались, наряду с латинским, греческий и древнееврейский языки, но, энтузиаст изучения древности, он был в то же время врагом сервиллизма ревнителей античности как в сфере мысли, так и в стиле [*Против них направлен его остроумный и язвительный диалог "Циперонианец" (1528), которым он нажил себе немало врагов*]. Заметим заодно, что автор "Домашних бесед" -- произведения, по которому, несмотря на преследования церкви, ряд поколений обучался изящной латыни -- дал образец ясного, гибкого, легкого стиля, "который нравился всем, а не только ученым", как признается один из противников Эразма [*Стиль "Похвального слова" в силу пародийной своей функции не может дать представления об этих достоинствах прозы Эразма. Напыщенность ученых периодов, в изобилии уснащенных цитатами и ссылками, порой совершенно бессмысленными, сочетается с вульгарной развязностью, когда Глупость, срываясь с взятого тона, высказывается откровенно и напрямик, как верно замечает П. К. Губер, автор настоящего перевода. В целом этот стиль прекрасно передает дух "риторов нашего времени" (гл. VI), язык которых служит Мории образцом: сочетание взятой напрокат учености с демагогической грубостью и страстностью проповеди на площади*]. В стиле Эразма -- дух его этики. И хотя все его произведения написаны по-латыни, слово Эразма больше чем кого-либо из гуманистов оказало влияние на литературную речь новых европейских языков, формировавшихся под влиянием неолатинской литературы. Эразм привил своим стилем вкус к непринужденной "природе" разговорной речи. Он секуляризировал литературный язык и освободил его от педантизма схоластической и церковной элоквенции.

Наибольшей резкости сатира достигает в главах о философах и богословах, иноках и монахах, епископах, кардиналах и первосвященниках (гл. LII--LX), особенно--в колоритных характеристиках богословов и монахов, главных противников Эразма на протяжении всей его деятельности. Нужна была большая смелость, чтобы показать миру "смрадное болото" богословов и гнусные пороки монашеских орденов во всей их красе! Папа Александр VI,--вспомнил впоследствии Эразм, -- однажды заметил, что предпочел бы оскорбить самого могущественного монарха, чем задеть эту нищенствующую братию, которая властвовала над умами невежественной толпы. II монахи действительно никогда не могли простить писателю этих страниц "Похвалы Глупости". Монахи были главными вдохновителями гонений против Эразма и его произведений. Они в конце концов добились занесения большей части литературного наследия Эразма

в индекс запрещенных церковью книг, а его французский переводчик Беркен -- несмотря на покровительство короля! -- кончил жизнь на костре (в 1529 г.). Популярная у испанцев поговорка гласила: "Кто говорит дурное про Эразма -- тот либо монах, либо осел".

Речь Мории в этих главах местами неузнаваема по тону. Место Демокрита, со смехом "наблюдающего повседневную жизнь смертных", занимает уже негодующий Ювенал, который "ворошит сточную яму тайных пороков" -- и это вопреки первоначальному намерению "выставлять напоказ смешное, а не гнусное" [См. *предисловие Эразма*]. Когда Христос устами Мории отвергает эту новую породу фарисеев, заявляя, что не признает их законов, ибо ко время оно обещал блаженство не за капюшоны, не за молитвы, не за посты, а только за дела милосердия, и поэтому простой народ, матросы и возчики, ему угоднее монахов (гл. LIV),--патетика речи возвещает уже накал страстей периода Лютера.

От прежней шутливости благорасположенной к смертным Мории, не остается и следа. Условная маска Глупости спадает с лица оратора, и Эразм говорит уже прямо от своего имени, как "Иоанн Креститель Реформации" (по выражению французского философа-скептика конца XVII в. П.Бейля). Новое в антимонашеской сатире Эразма не разоблачение обжорства, надувательства и лицемерия монахов -- этими чертами их неизменно наделяли уже на протяжении трех веков авторы средневековых рассказов или гуманистических новелл (вспомним, например, "Декамерон" Боккаччо середины XIV в.). Но там они фигурировали как ловкие пройдохи, пользующиеся глупостью верующих. Человеческая природа, вопреки сану дает себя знать в их поведении. Поэтому у Боккаччо и других новеллистов они забавны, и рассказы об их проделках питают только здоровый скепсис. У Эразма же монахи порочны, мерзки и уже "навлекли на себя единодушную ненависть" (гл. LIV). За сатирой Эразма чувствуется иная историческая и национальная почва, чем у Боккаччо. Созрели условия для радикальных изменений, и ощущается потребность в положительной программе действий. Мория, защитница природы, в первой части речи была в единстве с объектом своего юмора. Во второй части Мория, как разум, отделяется от предмета смеха. Противоречие становится антагонистическим и нетерпимым. Чувствуется атмосфера назревшей реформации.

Это изменение тона и новые акценты второй половины "Похвального слова" связаны таким образом с особенностями "северного Возрождения" и с назревающим потрясением основ до этого монолитной католической церкви. В германских странах вопрос реформы церкви стал узлом всей политической и культурной жизни. С реформацией здесь оказались связаны все великие события века: крестьянская война в Германии, движения анабаптистов, нидерландская революция. Но движение Лютера принимало в Германии все более односторонний характер: чисто религиозная борьба, вопросы вероисповедания на долгие годы заслонили более широкие задачи преобразования общественной жизни и культуры. После подавления крестьянской революции реформация обнаруживает все большую узость и не меньшую, чем католическая контрреформация, нетерпимость к свободной мысли, к разуму, который Лютер объявил "блудницей диаволовой". "Науки умерли везде, где установилось лютеранство", -- отмечает в 1530 году Эразм.

Сохранилась старая гравюра XVI века, изображающая Лютера и Гуттена несущими ковчег религиозного раскола, а впереди них Эразма, танцем открывающего шествие. Она верно определяет роль Эразма в подготовке дела Лютера. Крылатое выражение, пущенное в ход кельнскими богословами, гласило:

"Эразм снес яйцо, которое высидел Лютер". Но Эразм впоследствии заметил, что он отрекается "от цыплят подобной породы".

"Похвала Глупости" стоит, таким образом, у конца недифференцированного этапа Возрождения и на пороге реформации.

Сатира Эразма завершается весьма смелым заключением. После того, как

Глупость доказала свою власть над человечеством и над "всеми сословиями и состояниями" современности, она вторгается в святая святых христианского мира и отождествляет себя с самым духом религии Христа, а не только с церковью, как учреждением, где ее власть уже доказана ранее: христианская вера сродни Глупости, ибо высшей наградой для людей является своего рода безумие (гл. LXVI--LXVII), а именно -- счастье экстатического слияния с божеством.

В чем смысл этой кульминационной "коды" панегирика Мории? Она явно отличается от предшествующих глав, где Глупость приводит в свою пользу все свидетельства древних и бездну цитат из священного писания, толкуя их вкось и вкривь и не брезгая порой самыми дешевыми софизмами. В тех главах явно пародируется схоластика "лукавых толкователей слов священного писания", и они прямо примыкают к разделу о теологах и монахах. Наоборот, в заключительных главах нет почти никаких цитат, тон здесь, по-видимому, вполне серьезный и развиваемые положения выдержаны в духе ортодоксального благочестия, мы как бы возвращаемся к положительному тону и прославлению "неразумия" первой части речи. Но ирония "божественной Мории", пожалуй, более тонка, чем сатира Мории-Разума и юмор Мории-Природы. Недаром она сбивает с толку новейших исследователей Эразма, которые усматривают здесь настоящее прославление мистицизма.

Ближе их к истине те непредубежденные читатели, которые видели в этих главах "слишком вольный" и даже "кощунственный дух". Нет сомнения, что автор "Похвального слова" не был атеистом, в чем его обвиняли фанатики обоих лагерей христианства. Субъективно он был скорее благочестивым верующим. Впоследствии он даже выражал сожаление, что закончил свою сатиру слишком тонкой и двусмысленной иронией, направленной против теологов, как лукавых толкователей. Но, как сказал Гейне по поводу "Дон-Кихота" Сервантеса, перо гения мудрее самого гения и увлекает его дальше пределов, поставленных им самим своей мысли. Эразм утверждал, что в "Похвальном слове" излагается та же доктрина, что и в более раннем назидательном "Руководстве христианскому воину". Однако идейный вождь контрреформации, основатель ордена иезуитов Игнатий Лойола недаром жаловался, что чтение в молодости этого руководства ослабляло его религиозное рвение и охлаждало пыл его веры. И Лютер, с другой стороны, имел право хотя бы на основании этих заключительных глав не доверять благочестию Эразма, которого он называл <королем двусмысленности>. Мысль Эразма, как и автора "Утопии" (также далекого от атеизма), проникнутая широкой терпимостью, граничащей с равнодушием в вопросах религиозных, оказывала плохую услугу церкви, стоявшей на пороге великого раскола. Заключительные главы "Похвального слова", где Глупость отождествлена с духом христианской веры, свидетельствуют, что в европейском обществе наряду с католиками и протестантами, наряду с Лойолой и Лютером, складывалась третья партия, гуманистическая партия "осторожных" умов (Эразм, Рабле, Монтень), враждебных всякому религиозному фанатизму. И именно этой, пока еще слабой партии "сомневающихся", партии свободомыслящих, опирающейся на природу и разум и отстаивающей свободу совести в момент высшего накала религиозных страстей, исторически принадлежало будущее.

V

"Похвальное слово" имело у современников огромный успех. За двумя изданиями 1511 года потребовались три издания 1512 года--в Страсбурге, Антверпене и Париже. За несколько лет оно разошлось в количестве двадцати тысяч экземпляров -- успех по тому времени и для книги, написанной на латинском языке, неслыханный.

Более, чем любое другое произведение кануна Реформации, "Похвальное слово" распространяло в широких кругах презрение к теологам и монахам и возмущение состоянием церкви. Но Эразм не оправдал надежд сторонников Лютера, хотя сам, безусловно, стоял за практические реформы, которые должны были возродить и укрепить христианство. Его гуманистический скепсис в вопросах религиозной догматики, его защита терпимости и снисходительности, его лугиановски непочтительная форма обращения со священными предметами оставляли слишком много места -- даже с точки зрения протестантского богословия -- для свободного исследования и были опасны для церкви как новой, так и старой. Противники Эразма недаром называли его "современным Протеєм". Впоследствии католические и протестантские богословы старались -- каждый на свой лад -- доказать ортодоксальность его идей, но история расшифровала идеи автора "Похвального слова" в таком духе, который выводит их за пределы всякого вероисповедания.

Потомство не может упрекнуть Эразма за то, что он не примкнул ни к одной из борющихся религиозных партий. Его пронциательность и здравый смысл помогли ему разгадать обскурантизм обоих лагерей. Но вместо того чтобы возвыситься над обеими односторонностями религиозного фанатизма и употребить огромное свое влияние на современников для разоблачения равно "папоманов" как и "папифигов" (подобно Рабле, Деперье и другим свободомыслящим) и для углубления освободительной борьбы, Эразм занял нейтральную позицию между партиями, выступая в неудачной роли примирителя непримиримых станом. Тем самым он уклонился от решительного ответа на религиозные и социальные вопросы, поставленные историей. Мир и покой ему казались дороже всего. "Я терпеть не могу столкновений, -- писал он около 1522 года, -- и до такой степени, что, если начнется борьба, я покину скорее партию истины, чем локон". Но ход истории показал, что этот покой уже не был возможен и катаклизм был неизбежен. У "главы европейской республики ученых" не было натуры борца и той цельности, отмечающей тип человека эпохи Возрождения, которая воплощена в благородном образе его друга Т.Мора, в борьбе за свои убеждения сложившего голову на эшафоте (за что Эразм его порицал!). Переоценка мирного распространения знаний и надежды, которые Эразм возлагал на реформы сверху, была его ограниченностью, которая доказывала, что он мог возглавить движение только на мирном, подготовительном этапе. Все его последующие наиболее значительные произведения (издание "Нового завета", "Христианский государь", "Домашние беседы") приходятся на второе десятилетие XVI века. В 20--30-х годах, в разгар религиозной и социальной борьбы его творчество уже не имеет прежней силы, его влияние на умы заметно падает.

Позиции Эразма в последний период его жизни оказались поэтому намного ниже пафоса его бессмертной сатиры. Вернее, он сделал из своей философии "удобный" вывод: мудрец, наблюдая "комедию жизни", не должен "быть мудрее, чем э¹⁰ подобает смертному", и лучше "вежливо заблуждаться заодно с толпой", чем быть сумасбродом и нарушать ее законы, рискуя покоем, если не самой жизнью (гл. XXIX). Он избегал "одностороннего" вмешательства, не желая принимать участие в распрях "глупцов"-фанатиков. Но "всесторонняя" мудрость этой наблюдательской позиции есть синоним ее ограниченной односторонности, ибо что может быть одностороннее точки зрения, исключавшей из жизни действие, то есть участие в жизни? Эразм оказался в положении осмеянного им самим в первой части речи Мории бесстрастного мудреца-стойка, высокомерного по отношению ко всяким живым интересам. Выступления крестьянских масс и городских низов да арену истории "с красным знаменем в руках и с требованием общности имущества на устах" (Энгельс) [Маркс и Энгельс, Сочинения, т. XIV, М.--Л. 1931, стр. 475] и были в этот период высшим выражением социальных "страстей" эпохи и тех принципов "природы" и "разума", которые с такой смелостью защищал Эразм в "Похвале Глупости", а его друг Т. Мор в "Утопии". Это была настоящая борьба народных

масс за "всестороннее развитие", за право человека на радости жизни, против норм и предрассудков средневекового царства Глупости.

Однако между гуманистами (даже такими, как Т.Мор) и народными движениями эпохи, идейно им созвучными, практически лежала целая пропасть. Даже будучи прямыми защитниками народных интересов, гуманисты редко связывали спую судьбу с "плебейско-мюнцеровской" оппозицией, не доверяя "непросвещенным" массам и возлагая надежды на реформы сверху, хотя именно в этой оппозиции и выступала стихийная мудрость истории. Поэтому ограниченность их позиции сказывалась как раз в момент высшего подъема революционной волны. Эразм, например, порицал Лютера за его призывы "бить, душить, колоть" восставших крестьян, "как бешеных собак". Он одобрял попытку базельской буржуазии выступить в роли арбитра между князьями и крестьянами. Но дальше этого его мирный гуманизм не шел.

Независимо от личных позиций Эразма, его идеи исторически делали свое дело. "Эразмизм", как ересь "арианская" и "пелагианская", подвергается преследованию в эпоху контрреформации, но его влияние обнаруживается и в скептицизме "Опытов" Монтеня и в творчестве Шекспира, Бен-Джонсона и Сервантеса. Его внимательно читают французские вольнодумцы XVII века вплоть до П. Бейля (прожившего последний период своей жизни в родном городе Эразма -- Роттердаме), автора статьи об Эразме и его последователя в рационалистическом подходе к богословским текстам. Эта эразмовская традиция приводит к французским и английским просветителям XVIII века, а также к Лессингу, Гердеру и Песталоцци. Один развивают критическое начало его теологии, другие -- его педагогические идеи, его социальную сатиру или этику.

Просветители XVIII века с новой, невиданной до того силой используют основное орудие Эразма -- печатное слово. Лишь в XVIII веке семена эразмизма дают богатые всходы, и его сомнение, направленное против догматики и косности, его защита "природы" и "разума" расцветают в жизнерадостном свободомыслии Просвещения.

"Похвала Глупости" Эразма, "Утопия" Т. Мора и роман Рабле -- три вершины мысли европейского гуманизма Возрождения периода его расцвета.

Современный обскурантизм вызывает тени прошлого из могил. Модные в наше время "семантическое направление" и неотомизм пытаются возродить спор средневекового номинализма и реализма, выродившийся уже в XVI веке в борьбу "скотистов" с "темнотами", над которыми насмеялся Эразм. Можно подумать, что реакция намерена установить некий "закон сохранения глупости". На фоне модернизированной схоластики и воинствующего мракобесия всяческого толка сатира Эразма сохраняет силу старого, но меткого оружия.

Л. Е. ПИНСКИЙ

КОММЕНТАРИИ

Предисловие автора

¹ Томас Мор (1478--1535)--известный английский гуманист и государственный деятель, с которым Эразм был дружен. Его перу принадлежит знаменитая "Золотая книга, столь же полезная, как забавная, о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия" (1516).

² Мория -- глупость (греч.).

³ Демокрит Абдерский (ок. 460-- он. 370 до н.э.) -- великий

древнегреческий философ-материалист, основатель учения об атомах, как неизменных элементах материи. Древние называли Демокрита "смеющимся философом".

⁴ Лукиан (ок. 120--180 н.э.) -- знаменитый древнегреческий сатирик, автор многочисленных диалогов, памфлетов и сатирических рассказов, в которых зло осмеивал религиозные представления языческой мифологии и раннего христианства.

⁵ Батрахомиомахия (то есть "Война мышей и лягушек") -- древнегреческая поэма (V в. до н.э.), в которой борьба лягушек и мышей описана наподобие война троянцев с ахейцами, изображенной в "Илиаде". Во времена Эразма "Батрахомиомахия" приписывалась, по античной традиции, Гомеру.

⁶ Среди приписываемых знаменитому римскому поэту Публию Вергилию Марону (70--19 до н.э.) стихотворений есть две маленькие шуточные поэмы, на которые и намекает здесь Эразм.

⁷ Публий Овидий Назон (43 до н.э. -- 18 н.э.) -- один из крупнейших римских поэтов.

⁸ Исократ (436--338 до н.э.) -- знаменитый афинский оратор, автор многочисленных речей и декламации. В речи "Бусирид" он исправляет и дополняет софиста Поликрата, восхвалявшего легендарного египетского царя Бусирида, который приносил в жертву богам всех прибывавших в Египет чужеземцев.

⁹ Намек на рассуждения софиста Главка в диалоге Платона, "Государство" (II, 2).

¹⁰ Фаворин из Арелата (ныне Арль во Франции) -- греческий ритор и философ (II в. н.э.); Терснт -- ахейский воин, изображенный безобразным, дерзким и злым ("Илиада", II, 216--219).

¹¹ Синесий Киренский (370--413 н.э.) -- философ-неоплатоник александрийской школы; принял христианство и был митрополитом Киренского пятиградия (в Северной Африке). Среди произведений Синесия до нас дошло шутовское "Похвальное слово плещи".

¹² Эразм имеет в виду "Похвальное слово мухе" Лукиана.

¹³ Луций Анней Стекка (I в. н.э.) -- знаменитый римский философ-стоик. Эразм имеет в виду сатиру "Отыквление", написанную Сенекой на смерть императора Клавдия.

¹⁴ В одном из сочинений выдающегося греческого писателя-моралиста Плутарха (ок. 46--126 н.э.) выведен Грилл -- спутник Улисса (Одиссея), превращенный (как и его товарищи) волшебницей Цирцеей в свинью. Предпочитая оставаться в этом состоянии, Грилл убеждает Одиссея в преимуществах четвероногих над двуногими.

¹⁵ Апулей (род. ок. 124 н.э.) -- известный римский писатель. Его роман "Метаморфозы" ("Золотой Осел") по основной сюжетной схеме близок к приписываемой Лукиану повести "Лукий, или Осел". В обоих произведениях рассказывается о приключениях юноши, превратившегося в осла.

¹⁶ "Завещание поросенка" -- шуточное анонимное сочинение на латинском языке (III или IV в. н.э.).

¹⁷ Иероним (ок. 340--420 н.э.) из Далмации -- известный теолог, автор многих богословских сочинений; ему принадлежит латинский перевод Библии, так называемая "Вульгата". Эразм издал в 1516 году полное собрание сочинений св. Иеронима, снабдив их своими комментариями.

¹⁸ Филавтия -- Самолюбие (греч.). Ниже (гл. IX) упомянута в числе спутниц Глупости.

¹⁹ Децим Юний Ювенал (I--II вв. н.э.) -- знаменитый древнеримский поэт-сатирик, бичевавший римские нравы императорской эпохи.

²⁰ Томас Мор начал свою деятельность как адвокат.

²¹ Дата, по-видимому, ошибочная (возможно, опечатка первого

издания). "Похвальное слово Глупости" написано не раньше 1510 года, издано впервые в 1511 году.

Глава I

¹ Непента -- упоминаемое в "Одиссее" растение, которое усиливало опьяняющее действие кипа.

² Трофониева пещера -- оракул Зевса в Беотии. Обстановка, в которой давались предсказания, была настолько ужасна, что все побывавшие в пещере выходили из нее потрясенные.

Глава II

¹ Царь Фригии *Мидас*, присутствовавший при состязании Аполлона с Паном, предпочел простую свирель Пана кифаре Аполлона. В наказание оскорбленный бог наградил его ослиными ушами (*греч. миф.*).

² Имеется в виду течение в древнегреческой философии (V--IV вв. до н.э.), взгляды представителей которого (Горгия, Протагора, Продика, Гиппия и др.) были проникнуты скептицизмом, субъективизмом и релятивизмом. Они называли себя софистами (от греч. "софия"--мудрость) и обучали "мудрости", прежде всего -- умению аргументировать любой тезис. Сократ, Платон и Аристотель осуждали софистов, противопоставляя их учению объективные и общеобязательные нормы разума и морали. Со временем термином "софистика" стали обозначать "мнимую мудрость" (по определению Аристотеля).

³ Солон (ок. 638 -- ок. 559 до н.э.) -- законодатель древних Афин и один из древнейших аттических поэтов. Солон греки считали одним из величайших мудрецов.

Глава III

¹ *Фаларид* (VI в. до н.э.)--тиран Агригента (Сицилия), отличавшийся крайней жестокостью. Лукиан написал два "Слова" о Фалариде: первое произносят в защиту тирана его посланцы, обращаясь к жрецам Аполлона и народу дельфийскому, второе, ответное, -- один из дельфийцев,

Глава IV

¹ *Стультиция* -- глупость (лат.).

Глава V

¹ Фалес из Милета (ок. 624--547 до н.э.) -- родоначальник античной философии, впервые высказавший идею о единой материальной основе мира (считая такой основой воду). Один из так называемых "семи греческих мудрецов".

Глава VI

¹ *Двуязычные* -- то есть знающие греческий и латинский языки.

Глава VII

¹ *Иапет* -- титан, отец титанов Прометея, Эпиметея и Атланта.

² *Плутос* -- греческий бог богатства.

³ *Гесиод* -- древнегреческий поэт VIII--VII вв. до н.э.; ему принадлежат две большие дидактические поэмы "Труды и дни" и "Теогония" ("Происхождение богов").

⁴ Так Гомер и Гесиод неоднократно называют Зевса (Юпитера).

⁵ Греческая мифология насчитывала 12 главных (верховных) богов и богинь.

⁶ *Неотета* -- Юность (греч.).

⁷ Хромой кузнец -- Гефест, греческий бог огня и кузнечного ремесла.

⁶ В комедии великого древнегреческого комедиографа Аристофана (ок. 445--385 до н.э) "Богатство" бог богатства Плутос выведен в образе слепого старика.

Глава VIII

¹ На острове *Делосе*, который носился до этого по морским волнам, родился бог Аполлон. Из морской пены возникла богиня Афродита (*греч. миф.*).

² Намек на миф о рождении *Зевса*.

³ *Молий*--растение, употреблявшееся древними как средство против колдовских чар. *Панацея* -- мифическая трава, исцеляющая все болезни.

⁴ *Адонис* -- прекрасный юноша, любимец Афродиты; бил растерзан вепрем во время охоты, а затем превращен богиней в цветок (*греч. миф.*). *Сады Адониса* -- поговорка, обозначающая все непрочное, быстро преходящее, доставляющее лишь кратковременное удовольствие.

⁵ *Кронид* -- сын Крона, то есть Зевс. Крон, зная, что он будет свергнут одним из сыновей, проглатывал всех своих детей, как только они рождались. Младшего сына, Зевса., мать его Рея родила в пещере на острове Крите и, спрятав от отца, поручила заботам нимф, которые вскормили его молоком божественной козы Амалфеи (*греч. миф.*).

⁶ *Метэ* -- Опыянение (*греч.*).

⁷ *Апедия* -- Невоспитанность (*греч.*).

Глава IX

¹ *Колакия* -- Лесть (*греч.*).

² *Лета*--Забвение (*греч.*).¹

³ *Мисопония* -- Лень (*греч.*).

⁴ *Гедопэ* -- Наслаждение (*греч.*).

⁵ *Анойя* -- Безумие (*греч.*).

⁶ *Трифэ* -- Чревоугодие (*греч.*).

⁷ *Комос* -- Разгул (*греч.*).

⁸ *Негеретос Гипнос* -- Непробудный сон (*греч.*).

Глава XI

¹ *Эгида* -- щит Зевса, сделанный из кожи выкормившей его козы Амалфеи (греч. миф.).

² Эразм говорит об этике стоицизма, философского учения, основанного древнегреческим философом Зеноном (IV--III вв. до н.э.) и получившего широкое распространение в Римской империи (Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий и др.). Стоики проповедовали отказ от радостей жизни и подчинение всех человеческих страстей и чувств разуму.

³ Но мысли древнегреческого философа Пифагора (VI в. до н.э.), в основе всего сущего лежит число.

⁴ Тит *Лукреций* Кар (ок. 99--55 до н.э.)--знаменитый римский поэт и философ-материалист. Его поэма "О природе вещей" начинается гимном Венере:

"Рода Энеева мать, людей и бессмертных услада,
О благая Венера!"
(Перевод Ф. Петровского.)

Глава XII

¹ Слова из трагедии великого древнегреческого трагика Софокла (ок. 497--40й до н.э.) "Аянт Биченосец" (554).

Глава XIII

¹ *Метаморфоза* -- превращение (греч.).

² Эразм намекает на смену из комедии "Купец" (акт II, сц. 2) великого римского комедиографа Тита Макция Плавта (ок. 254--184 до н.э.).

³ *Нестор* -- мудрый и красноречивый старец, старейший из ахейских царей, осаждавших Трои. Стремясь смягчить гнев спорящих Ахилла и Агамемнона Нестор

"...сладкоречивый восстал...

Речи из уст его вещей сладчайшие меда лилися".

("Илиада", I, 248--249; перевод Н. Гнедича.)

⁴ "Илиада", III, 152.

⁵ "Одиссея", XVII, 218.

Глава XIV

¹ *Акарнания* -- область на севере Греции; жители Акарнании занимались свиноводством.

² Эразм намекает на голландскую поговорку: "Чем старше, тем глупее брабантец; чем старше, тем тупее голландец".

³ *Медья*, *Цирцея* (Кирка)--могущественные волшебницы, героини многих древнегреческих мифов.

⁴ Глупость смешивает и путает несколько различных мифов.

⁵ Некоторые древнегреческие предания отождествляют лесбосского юношу *Фаона*, отвергшего любовь великой поэтессы Сафо (VI до

н.э.), с Адонисом, любимцем Афродиты (Венеры), которому богиня даровала вечную юность.

Глава XV

¹ *Вакх* (Дионис) -- бог вина, сын Зевса и фиванской царевны Семелы; он родился недоношенным, поэтому Зевс зашил его к себе в бедро, и Дионис вторично родился из бедра своего отца (греч. миф.).

² Лесной бог Пан, разгневавшись, насылал на людей "панический" ужас (греч. миф.).

³ *Горгона* -- чудовище, взгляд которого обращал людей в камень. Герой Персей победил Горгону, и богиня Афина-Паллада прикрепила ее голову к своему щиту.

⁴ *Флора* -- римская богиня цветов и весны. Празднества в ее честь сопровождались бурным весельем и разгулом.

⁵ *Эндимион* -- прекрасный юноша, любимец богини Артемиды (римской Дианы). По другим мифам, Эндимиона любила богиня Луны, которая погрузила его в вечный сон.

⁶ *Мом* -- греческий бог злословия.

⁷ Богиня *Ата* олицетворяла пагубное заблуждение. Зевс, разгневавшись однажды, сбросил Ату на землю и запретил ей возвращаться на Олимп.

⁸ *Приап*-- римский бог плодородия, покровитель полей и садов, позднее -- бог сладострастия. Его изображения делались обычно из дерева.

⁹ *Силен* -- воспитатель и постоянный спутник бога Диониса (греч. ;лиф.); *кордак*--разнузданный бурный танец в древне-аттической комедии.

¹⁰ *Полифем*--свирепый одноглазый великан (циклоп), ослепленный Одиссеем.

¹¹ *Ателланские фарсы* -- древнеримские народные драматические представления часто непристойного содержания, обычно включавшие в себя пляски сатиров; названы так по месту возникновения (город Ателла в Кампании).

¹² **Гарпократ - древнеегипетское божество, олицетворявшее восход солнца; изображалось обычно держащим палец правой руки у рта, поэтому греки считали его богом молчания.**

Глава XVI

¹ В римской унции 480 гран.

Глава XVII

¹ Глупость здесь искажает взгляды великого древнегреческого философа-идеалиста Платона (427--347 до н.э.), который, напротив, считал, что женщина наделена такими же умственными способностями, как и мужчина.

Глава XVIII

¹ *Семь греческих мудрецов* -- Питтак Митиленский, Солон Афинский, Клеобул Родосский, Периандр Коринфский, Хейлон Спартанский, Фалес Милетский и Биант Приенский, полулегендарные философы, законодатели и

военачальники VII--VI вв. до н.э.

Глава XIX

¹ *Крокодилиты, сориты, рогатые силлогизмы* -- термины средневековой формальной логики, обозначающие виды умозаключений.

² *Бальбин* и *Агна* -- комические любовники, упоминаемые великим римским поэтом Квинтом Горацием Флакком (65-- 8 до н.э.) в одной из его сатир (I, 3).

³ Гораций, "Сатиры", I, 3, 27. Перевод М. Дмитриева.

⁴ *Аргус* -- стоглазый великан, которому ревнивая Гера приказала стеречь возлюбленную Зевса Ио превращенную ею в корову.

Глава XXII

¹ *Нирею*, самому красивому из осаждавших Трою греков, противопоставляется безобразный *Терсит*, юноше *Фаону* -- старец *Нестор*.

² Перифраз одной строки римского поэта-эпиграмматиста I в. н.э. Марка Валерия Марциала (X, 47, 12).

Глава XXIII

¹ Вергилий, "Энеида", VIII, 2.

² *Архилох* -- выдающийся древнегреческий поэт середины VII в. до н.э. Он много странствовал и служил наемником в войсках различных греческих городов-государств. В одном стихотворении Архилох без тени смущения вспоминает о том, как однажды во Фракии позорно бежал с поля брани. *Демосфен* (384--322 до н.э.)--великий афинский оратор и политический деятель; его речи сыграли большую роль в период борьбы Афин против Македонии. Мория искажает факт трагической биографии Демосфена, который бежал из Афин после поражения родного города и, не желая сдаться македонянам, принял яд.

Глава XXIV

¹ *Сократ* (469-- 399 до н.э.) -- великий древнегреческий философ. Учение Сократа, оказавшее огромное влияние на развитие современной ему мысли, известно из сочинении его учеников Платона и Ксенофонта, так как сам Сократ ничего не писал. Обвиненный в том, что он, отвергая богов, развращает юношество, Сократ был приговорен к смертной казни и умер, выпив чашу с ядом.

² *Теофраст* (372--287 до н.э.) -- ученик и последователь Аристотеля, известный древнегреческий мыслитель, писатель и ученый-натуралист, автор множества разнообразных сочинений. Замечание Мории о Теофрасте ошибочно, так как Теофраст считался прекрасным оратором.

³ *Марк Туллий* Цицерон (106--43 до н.э.)--крупнейший римский оратор, видный государственный деятель, писатель и юрист.

⁴ Платон, "Государство", V, р. 473 С.

⁵ Марк Порций *Катон* Старший (234--149 до н.э.) -- известный

римский государственный деятель, участник Второй Пунической войны. В 184 году Катон был избран цензором и прославился как непреклонный блюститель строгих нравов. Марк Порций *Катон* Младший (95--56 до н.э.), называемый по месту смерти Утическим, правнук Катона Старшего -- римский политический деятель, ревностный сторонник республики, сражавшийся против Цезаря на стороне Помпея. После поражения помпеянцев при Тапсе покончил с собой, не желая пережить республику.

⁶ Марк Юний *Брут* (85--52 до н.э.) и Гай Кассий Лонгин (ум. в 42 до н.э.)--римские политические деятели, последние защитники республики, организаторы заговора против Цезаря. После убийства Цезаря вынуждены были удалиться из Рима, а затем, в битве при Филиппах в Македонии, были разгромлены войском триумвиров Марка Антония и Октавиана и покончили с собой. Братья Гракхи, Тиберий (163--132 до н.э.) и Гай (153--121 до н.э.)--римские политические деятели, защитники плебса. Попытки Гракхов провести демократические реформы, не увенчались успехом. Оба брата были убиты.

⁷ *Марк Антонин* -- римский император Марк Аврелий Антонин (годы правления: 161--180 н.э.). Его внутренняя политика (в частности устройство детских приютов, помощь пострадавшему от голода и чумы населению и т.д.) создала ему репутацию гуманного правителя. Занимаясь с ранней юности философией, Марк Аврелий был последователем учения стоиков, этическую доктрину которых он изложил в трактате "К самому себе". Сын его *Коммод*, развратный, слабохарактерный и жестокий деспот, был убит в 192 году.

Глава XXV

¹ *Тимон* (V в. до н.э.)--богатый афинянин, который, возмущившись человеческой неблагодарностью, удалился от людей. Имя его еще в древности стало нарицательным для обозначения человеконенавистника (ср. также трагедию Шекспира "Тимон Афинский").

Глава XXVI

¹ *Амфион* звуками своей лиры заставлял каменные глыбы слагаться в стену вокруг города Фив. *Орфей* своими песнями укрощал диких зверей и приводил в движение деревья и скалы (*греч. миф.*).

² Имеется в виду предание о том, как в 494 году до н.э. римские плебеи, возмущенные жестокими притеснениями со стороны патрициев, покинули Рим и удалились на Священную гору (невдалеке от города). Посол патрициев Менений Агриппа умиротворил народ, рассказав басню о членах человеческого тела, которые взбунтовались против желудка, за что сами поплатились крайним изнеможением.

³ *Фемистокл* (526--461 до н.э.), известный древнегреческий полководец и политический деятель, однажды успокоил афинян, возмущенных жадностью должностных лиц, рассказав басню об увязшей в болоте лисе, которая просила ежа не отгонять облепивших ее комаров, так как они уже напились ее кропи, а на их место могут слететься новые, голодные и потому еще более жадные и жестокие.

⁴ Квинт *Серторий* (ум. в 72 до н.э.) --римский полководец и политический деятель. Будучи наместником в Испании, откололся от Рима во время диктатуры Суллы, противником которого он был, и возглавил армию, состоявшую из наемников и римских изгнанников. Стремясь укрепить свой

авторитет, Серторий показывался солдатам с ручной белой ланью, якобы подаренной ему Дианой.

⁵ Имеется в виду полулегендарный законодатель Спарты Ликург (ок. X в. до н.э.), который, чтобы наглядно доказать необходимость реформы воспитания юношества, по-разному вырастил двух щенков: один из них был прожорливым и ленивым, а второй проворным. Когда щенков спустили с цепи, первый бросился к миске с похлебкой, а второй погнался за живым зайцем.

⁶ Желая показать своим сторонникам, что единодушие важнее силы, *Серторий* сначала велел молодому, сильному солдату вырвать хвост у старой клячи, а потом приказал дряхлому старику вырвать хвост у молодого коня. Первый справился со своей задачей с большим трудом, потому что старался вырвать весь хвост сразу, а второй легко выщипал волос за волосом.

⁷ Мифический царь и законодатель Крита *Минос* каждые девять лет якобы посещал Зевса и получал от него наставления. Полулегендарный древнеримский царь *Нума* Помпилий, по преданию, постоянно советовался с мудрой нимфой Эгерией, которая открывала ему волю богов.

Глава XXVII

¹ *Деции* -- римский патрицианский род. Три представителя этого рода (отец, сын и внук) погибли в боях за отечество (IV--III вв. до н.э.).

² Имеется в виду рассказ о подвиге Марка *Курция*; в 362 году до н.э. он бросился в появившуюся посреди римского форума расщелину, которую, согласно прорицаниям, во избежание великих несчастий, нужно было заполнить самым дорогим, что есть в Риме.

Глава XXIX

¹ Гомер, "Илиада", XVII, 32.

² *Алкивиад* (ок. 450--404 до н.э.) -- известный афинский политический деятель, друг Сократа. В диалоге Платона "Пир" Алкивиад произносит речь, в которой сравнивает Сократа с силенами (уродливыми фигурами, внутри которых скрывались прекрасные изображения).

³ *Хорег*. -- руководитель хора (греч.). *Просцениум* (проскений) -- в античном театре площадка, на которой играли актеры.

Глава XXX

¹ *Геликон*--гора в Беотии (область средней Греции), где согласно греческим мифам, обитали Музы.

² В диалоге "О государстве" Платон излагает принципы совершенного, с его точки зрения, государственного устройства. Идеи в учении Платона -- сущности и прообразы вещей, образующие особый мир, отражением которого является мир материальный.

³ В наказание за разглашение тайн богов царь Фригии *Тантал* был осужден в царстве мертвых вечно мучиться голодом, видя спелые плоды над самой своей головой, но тщетно пытаясь их сорвать.

⁴ Вергилий, "Энеида", I, 471. Марпесс--гора на о-ве Паросе, из которой добывался знаменитый паросский мрамор.

⁵ *Линкей*--мифический герой, был одарен необыкновенно острым

взором, проникавшим даже в недра земные.

Глава XXXI

¹ По свидетельству римского писателя Авла Гелия (II в. н.э.), эти девушки, потеряв рассудок, все разом покончили с собой.

² *Диоген* Синопский (ок. 404--323 до н.э.)--древнегреческий философ-киник; согласно легенде, он покончил жизнь самоубийством, задержав и остановив дыхание. *Ксенократ* Халкидский (ок. 406--314)--древнегреческий философ, ученик и последователь Платона; ему приписывался философский трактат о смерти.

³ *Хирон* -- мудрый и справедливый кентавр, воспитатель Ахилла. По одной из версий мифа, он добровольно умер вместо Прометея, передав ему свое бессмертие.

⁴ Согласно одному из вариантов мифа о Прометее, он сотворил первых людей из глины.

⁵ *Парки* (Мойры) -- три богини судьбы, одна из которых пряла нить человеческой жизни, другая тянула ее, а третья обрезала (*греч. миф.*).

⁶ Аристофан, "Богатство", 266--267.

Глава XXXII

¹ *Палестра* -- гимнастическая школа в древней Греции.

² *Тевт* (или *Тот*) -- легендарный создатель математики, алфавита и астрономии.

³ Эразм имеет в виду рассказ Платона ("Федр", р. 274 С --D) о споре египетского царя Тама с обучавшим его Тевтом. Тевт утверждал, что искусство письма помогает памяти. Там доказывал, что оно, напротив, вредно, так как, овладев им, человек больше записывает, чем запоминает.

⁴ *Халдеи* -- племена Южной Месопотамии, образовавшие в VII в. до н.э. Ново-Вавилонское царство; они считались изобретателями астрологии и магии, поэтому впоследствии в Риме астрологов называли халдеями.

Глава XXXIII

¹ Гомер, "Илиада", XI, 514.

Глава XXXIV

¹ Намек на диалог Лукиана "Петух, или Сновидение", в котором петух рассказывает о своих превращениях из воина в философа Пифагора, затем в гетеру, циника Кратета, царя, нищего, сатрапа, коня, галку, лягушку я, наконец, в петуха.

Глава XXXV

¹ *Энтимема* -- сокращенный силлогизм (одна из посылок опущена).

Глава XXXVI

¹ Слова из трагедии древнегреческого трагика Еврипида (ок. 480--406 до н.э.) "Вакханки" (369).

Глава XXXVII

¹ *Елисейские Поля* -- обитель блаженных в царстве мертвых (греч. миф.).

Глава XXXVIII

¹ Эразм имеет в виду диалог Платона "Пир", в котором утверждается, что есть две Афродиты: старшая, родившаяся из пены морской, Небесная Афродита (Уrania) и младшая, дочь Зевса и Дионы, Всенародная Афродита (Пандемос), а следовательно--два Эрота и два различных вида любви (идеальная и чувственная).

² Гораций, "Оды", III, 4, 4--5. *Перевод Н. С. Гинцбурга.*

³ В "Энеиде" Вергилия (VI, 135) прорицательница Сивилла так говорит о намерении Энея спуститься в преисподнюю для свидания с тенью отца его, Анхиза.

⁴ Тит Помпоний *Аттик* -- богатый римлянин, друг Цицерона.

⁵ Гораций, "Послания", II, 2, 133--135; 138--140. *Перевод Н. С. Гинцбурга.*

Глава XXXIX

¹ *Киннамон* -- благовонное масло.

² Помимо четырех материальных *сущностей* (земли, воды, воздуха и огня), о которых писали античные материалисты, средневековые философы различали *пятую* (квинтэссенцию), якобы наиболее истинную сущность вещей.

³ Слова из элегии римского поэта I в. до н.э. Секста Проперция (II, 10, 6).

⁴ *Малея* -- очень опасный для мореплавателей мыс на побережье Пелопоннеса.

Глава XL

¹ *Лемуры, ларвы* -- духи умерших (*римск. миф.*).

² Эразм сопоставляет великана *Полифема* со св. *Христофором* потому, что иконописцы обычно изображали этого святого очень высоким, с огромным посохом, похожим на мачту.

³ *Св. Георгий* постоянно изображается на коне, а юноша *Ипполит*, погубленный влюбившейся в него мачехой, был, согласно мифу, искусным наездником.

⁴ *Клепсидра* -- водяные часы.

⁵ В житии *св. Бернарда* Клервосского (ум. в 1153) рассказывается, как явившийся ему однажды дьявол хвастался, что знает такие семь стихов из "Псалтири", ежедневное чтение которых непременно приведет в рай, но открыть эти стихи отказался. Св. Бернард решил ежедневно прочитывать всю "Псалтирь". Тогда дьявол, рассудив, что это составит еще больший подвиг благочестия, чем чтение семи строк, назвал магические стихи.

Глава XLI

¹ Мория перефразирует три строки из "Энеиды" (VI, 625--627).

² *Эдилы* -- в древнем Риме выборные лица, в обязанности которых входили организация народных зрелищ, городское благоустройство, полицейский надзор и регулирование продовольственного снабжения.

Глава XLII

¹ *Артур* -- легендарный король Британии. С его именем связаны кельтские предания, послужившие сюжетами для множества средневековых романов (так называемый цикл романов Круглого Стола).

² *Гермоген* -- известный певец, о котором упоминает Гораций ("Сатиры", I, 3, 129).

Глава XLV

¹ *Академики*--последователи Платона. Основанная Платоном философская школа, называлась Академией потому, что его ученики и друзья собирались в роще, посвященной герою Академу (близ Афин).

² *Зевксид* (V в. до н.э.) и *Апеллес* (IV в. до н.э.) -- знаменитые древнегреческие живописцы.

³ *Моего соименника* -- то есть Томаса Мора.

⁴ Эразм имеет в виду знаменитое место из диалога Платона "Государство" (начало кн. VII), где люди уподоблены узникам, заключенным со дня рождения в темной пещере. Они обращены спиной к выходу и видят лишь тени предметов, проносимых мимо пещеры. Только созерцающий идею мудрец подобен человеку, который вышел из пещеры на свет и увидел самые предметы.

⁵ В диалоге Лукиана "Петух, или Сновидение" выведен некий *Микилл*, который во время послеобеденного сна увидал себя богачом, по был разбужен петухом и горько об этом сожалел.

Глава XLVI

¹ *Вейовис*--древнеримский бог мщения. *Пены*--олицетворения кары, возмездия. *Фебры* -- богини лихорадки (*римск. миф* .).

Глава XLVIII

¹ *Пифагорейцы* основывали аскетические общины, в которых отчасти осуществляли проповедуемый ими отказ от личной собственности.

² Испанский городок *Сант-Яго*, в котором, по преданию, хранились чудотворные мощи апостола Иакова, покровителя Испании, был местом паломничества.

³ Вероятно, намек на диалог Лукиана "Икароменипп", герой которого, Менипп, смастерив себе крылья, взлетел на Луну.

Глава XLIX

¹ Некоторые комментаторы полагают, что Эразм намекает на розгу, которой был неизменно "вооружен" учитель.

² Речь идет об одной из эпиграмм поэта IV--V вв. п. р. Паллада, где говорится о том, что жизнь учителя так же мрачна, как первые пять стихов "Илиады" Гомера, с которой начиналось изучение грамматики в школе.

³ Так, издеваясь над философами, называет Аристофан школу Сократа в комедии "Облака".

⁴ Латинская поговорка об осле в львиной шкуре.

⁵ *Дионисий* -- имя двух сиракузских тиранов, Дионисия Старшего (431--367 до н.э.) и его сына Дионисия Младшего (свергнут в 357).

⁶ Реммий *Палемон* -- римский грамматик I в. н.э., отличавшийся необыкновенной самонадеянностью. Элий *Донат*-- известный римский ритор и грамматик IV в. н.э.

⁷ *Анхиз*--отец Энея.

⁸ *Альд Мануций* (1449--1515)--друг Эразма, владелец знаменитой типографии в Венеция, издававший сочинения древних авторов, а также гуманистов, в частности -- произведения Эразма.

Глава L

¹ Анонимное наставление по риторике, в древности ошибочно приписывавшееся Цицерону.

² Марк Фабий *Квинтилиан* (ок. 35--95 н.э.) -- известный римский ритор, автор обширного трактата "Образование оратора" -- классического труда по истории и теории римского красноречия.

³ *Персий* и *Лелий* упоминаются Цицероном как величайшие знатоки ораторского искусства.

⁴ *Телемах* -- сын Одиссея.

⁵ *Стелен* -- видимо, описка Эразма. Известен Сфенел, друг Диомеда, одного из героев Троянской войны.

⁶ *Лаэрт* -- отец Одиссея.

⁷ *Поликрат* (VI в. до н.э.) --тиран острова Самос, отличавшийся богатством и щедростью. *Фразимах* -- древнегреческих философ-софист (V в. до н.э.).

⁸ *Алкей* из Митлены (на о-ве Лесбос) -- знаменитый древнегреческий лирик (VI в. до н.э.). *Каллимах* (ок. 310--240 до н.э.) --

один из крупнейших греческих поэтов эпохи эллинизма.

⁹ Вергилий, "Энеида", II, 39.

¹⁰ Имеется в виду триумф, которого удостоился римский полководец Публий Корнелий Сципион Африканский Старший в 202 году до н.э. после победы над Карфагеном.

Глава LI

¹ *Сизиф* -- мифический основатель города Коринфа; за коварство и обман он осужден богами вечно вкатывать на высокую гору огромный камень, который, всякий раз, как Сизиф приближается к вершине, срывается вниз (*греч. миф.*). Выражение "сизифов труд" стало нарицательным для обозначения всякой бесплодной работы.

² *Глоссы* -- примечания к "Своду римского права", сделанные средневековыми юристами XI--XIII вв. (так называемые глоссаторами). Впоследствии глоссы, в свою очередь, приобрели силу законов.

³ В *Додоне* (Сев. Греция) перед храмом Зевса были развешаны и расставлены медные сосуды; колеблемая ветром проволока ударялась о них, и раздавался непрерывный звон. Отсюда -- "говор меди додонской", как непрерывный шум.

⁴ *Стентор* -- глашатай, отличавшийся необыкновенно сильным голосом ("Илиада", V, 785).

Глава LII

1 *Универсалии* -- общие понятия (лат.).

Глава LIII

¹ Жители сицилийского города *Камарины* (Камерины), вопреки совету Дельфийского оракула, осушили болото вблизи своего города, что открыло врагам доступ к Камарине.

² *Конклюдия*--заключение {лат.}.

³ *Дефиниция* -- определение (лат.). *Короллари* -- выводы (лат.). *Пропозиция*--утверждение, посылка (лат.).

⁴ Намек на выкованные *Вулканом* железные тенета, в которые попала его неверная жена Венера со своим любовником, богом войны Марсом.

⁵ Греческая поговорка.

⁶ *Евхаристия* -- таинство причащения, в котором, по учению католической (а также православной) церкви, хлеб *пресуществляется* в тело, а вино--в кровь Христову.

⁷ *Гнома* -- краткое прозаическое или стихотворное изречение, обычно поучительного характера (греч.).

⁸ *Реализм* и *номинализм* -- противоположные направления средневековой схоластической философии. Реалисты утверждали, что общие понятия ("универсалии") реально существуют и предшествуют единичным предметам; номиналисты, наоборот, считали общие понятия лишь абстракциями, именами реально существующих единичных предметов. *Фомисты* -- последователи Фомы Аквинского (1225--1274) -- итальянского средневекового философа-схоласта. Учение Фомы Аквинского стало официальной философией католической церкви. *Альбертисты*--ученики Альберта фон Больштедт

(1193--1280), прорванного богословами Великим, немецкого теолога и философа-схоласта, учителя Фомы Аквинского. *Оккамисты* -- сторонники Уильяма Оккама (ок. 1300--1350)--крупнейшего английского философа-номиналиста. *Скотисты* -- последователи Иоанна (Дунса) Скота (ок. 1265--1308), шотландского философа-номиналиста, оспаривавшего догматику Фомы Аквинского.

⁹ "Послание к Евреям", XI, 1.

¹⁰ Намек; на происходивший между скотистами и фомистами спор о догмате непорочного зачатия богородицы.

¹¹ "Евангелие от Иоанна", IV, 24.

¹² *Акциденция* и *Субстанция* -- философские термины: акциденция -- случайное, преходящее начало, субстанция -- неизменная и вечная сущность.

¹³ *Хрисипп* из Киликии (ок. 280--208 до н.э.) -- древнегреческий философ-стоик; славился как искусный диалектик.

¹⁴ Св. Иоанн *Златоуст* (347--407)--знаменитый проповедник и богослов. Св. *Василий Великий* (330--379) -- епископ Кесарийский, один из крупнейших авторитетов восточной церкви. Эразм здесь противопоставляет ранних "отцов церкви" столпам средневековой схоластики.

¹⁵ "*Кводлибетум*" (от лат. quodlibet -- что угодно) название одного из сочинений Дунса Скота.

¹⁶ *Matula putet* и *matula putet, ollae fervere* и *ollam fervere*--тождественные по значению латинские выражения.

¹⁷ *Афина-Паллада* родилась из головы Зевса (*Юпитера*), после того как Гефест (*Вулкан*) рассек, по просьбе Зевса, его череп (см. Лукиан, "Разговоры богов", 8).

¹⁸ *Иудейская тетраграмма*--имя божие (Ягве), состоящее из четырех букв.

Глава LIV

¹ Гностик Василид (II в. н.э.) учил, что существует 365 небес, совокупность которых он обозначил словом "*абраксас*" так как сумма цифровых значений входящих в него букв равна 365.

² Гораций, "Сатиры", II, 7, 21.

³ Гордясь своими многочисленными детьми, фиванская царица *Ниобея* дерзнула презрительно отозваться о богине Латоне, матери Аполлона и Артемиды. Разгневанные боги умертвили всех детей Ниобеи, сама же она обратилась в камень.

⁴ Эразм имеет в виду рассказ Горация о *деревянном Приапе*, который, увидав, как колдуньи *Канидия* и *Сагана* заклинаят фурий и духов, от ужаса раскололся с таким треском, что сами колдуньи в страхе убежали (Гораций, "Сатиры", I, 8).

⁵ "*Историческое зеркало*" было написано в XIII в. монахом-доминиканцем Винцетом де Бове. "*Римские деяния*" -- анонимное произведение, появившееся примерно в то же время. Сочинения эта, богатые разнообразными вымыслами, пользовались в средние века огромной популярностью.

⁶ Т.е. иносказательно.

⁷ Т.е. в высшем, мистическом смысле.

⁸ Гораций, "Искусство поэзии", 1. *Перевод М. Дмитриева*.

⁹ *Эллебор* -- растение, применявшееся в древности как средство против душевных болезней.

¹⁰ Вероятно, имеется в виду св. *Антоний* Египетский (ок. 251--356), считающийся основателем пустынножительства монашества.

Глава LVI

¹ Эразм имеет в виду стихи Горация:

"Мы -- ветрогоны, мы все -- женихи Пенелопы, подобны
Юношам мы Алкиноя, что заняты были не в меру
Холею кожи и, спать до полудня считая приличным,
Сон, что лениво к ним шел, навевали звоном кифары..."

"Послания", 2, 28--31. Перевод М. Дмитриева.

Глава LIX

¹ Диспенсация -- разрешение в отдельном случае нарушить существующий церковный закон. Диспенсивная власть принадлежала папе, который мог передавать ее епископам, и являлась существенным источником доходов католической церкви в средние века.

² В "Послании к Римлянам" (XVI, 18) говорится о тех, которые "...служат не господу нашему Иисусу Христу, а своему "реву, и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных".

³ *Интердикт* -- запрещение богослужения и отправления других религиозных обрядов, широко применявшееся средневековой католической церковью в ее борьбе со светской властью в качестве наказания, налагаемого на целые города, области, страны, или -- реже на отдельных лиц. *Бенефиций* -- здесь: церковная должность и связанные с ней доходные статьи.

⁴ "Евангелие от Матфея", XIX, 27.

⁵ Весьма смелый намек на папу Юлия II (1503--1513), еще занимавшего папский престол в годы первых изданий "Похвалы Глупости".

Глава LX

¹ *Десятина* -- десятая часть урожая и иных доходов, взимавшаяся в Западной Европе церковью со всего населения.

² *Регулярное духовенство* -- священники, не принадлежавшие к определенному ордену или конгрегации, но соблюдавшие монашеский устав.

³ *Картезианцы*--монахи картезианского ордена, учрежденного около 1084 года и известного особой строгостью устава.

Глава LXI

¹ *Рамнузия* -- Немезида, греческая богиня справедливости и возмездия.

² *Тимофей*--известный афинский полководец IV в. до н.э.

³ Авл Геллий (III, 9, 6) рассказывает о коне, принадлежавшем первоначально некоему *Сею*, осужденному на смерть Марком Антонием. Все последующие владельцы этого коня также погибли насильственной смертью. Тот же Геллий (III, 9, 7), сообщает, что золото, награбленное в храмах

галльского города *Тулузы* римским консулом Гнеем Сервилием Цепионом (конец II в. до н.э.), принесло несчастье всем, кто получил свою долю в добыче.

⁴ Имеются в виду знаменитые "Adagia" ("Поговорки") -- большой сборник античных поговорок и крылатых слов, снабженных обширными и остроумными комментариями самого Эразма.

Глава LXII

¹ Так называет себя Гораций ("Послания", I, 4, 16). *Эпикур* (341--270 до н.э.)--древнегреческий философ, один из самых выдающихся представителей античного материализма. Эпикурейцы ("*Эпикурово стадо*") возводили наслаждение в основной принцип этики.

² Гораций, "Оды", IV, 12, 27. *Перевод Н. С. Гинцбурга.*

³ Гораций, "Оды", IV, 12, 28. *Перевод Н. С. Гинцбурга.*

⁴ Гораций, "Послания", II, 2, 126.

⁵ Цицерон, "Письма к близким", IX, 22, 14.

Глава LXIII

¹ *Сорбонна* -- богословский факультет Парижского университета; была центром католического мракобесия в XVI веке.

² Намек на одно анонимное латинское стихотворение, где Приап изображен садовым сторожем, который, слушая, как его господин читает Гомера, запомнил несколько слов и затем употреблял их весьма некстати.

³ "Екклезиаств", I, 15 в. В русском синодальном переводе Библии этого стиха нет.

⁴ "Книга пророка Иеремии", X, 14.

⁵ "Книга пророка Иеремии", IX, 23.

⁶ "Екклезиаств", I, 2.

⁷ "Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова", XXVII, 11 (12).

В русском синодальном переводе этот стих звучит несколько иначе.

⁸ "Евангелие от Матфея", XIX, 17.

⁹ "Екклезиаств", I, 18.

¹⁰ "Екклезиаств", VII, 4 (5).

¹¹ "Многие же будут первые последними и последние первыми". "Евангелие от Матфея", XIX, 30.

¹² Отыскать это "недвусмысленное свидетельство" в указанной главе совсем не так просто, как о том объявляет Глупость.

¹³ В действительности это "свидетельство" находится не в XLIV, а в XX главе (стих 31).

¹⁴ Стих 3. Традиционный (синодальный) перевод этого стиха несколько иной.

¹⁵ "Кита притчей Соломоновых", XXX, 2.

¹⁶ "Второе послание к Коринфянам", XI, 21.

¹⁷ Там же, 22, 23.

¹⁸ То есть знающими греческий, латинский и древнееврейский языки.

¹⁹ Имеется в виду Парижский теолог Николай Лира (умер в 1340), богослов и проповедник, комментатор Библии.

Глава LXIV

¹ Св. Иероним знал пять языков: латинский, греческий, древнееврейский, халдейский и свой родной -- далматский.

² В "Деяниях апостолов" (XVII, 22--23) приводится обращение апостола Павла к афинянам: "По всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано: "неведомому Богу". Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам".

⁵ "Евангелие от Луки", XXII, 36.

⁴ По-видимому, августинец Иордан Саксонский (XIV в.).

⁵ "Книга пророка Аввакума", III, 7. В русском синодальном переводе сказано просто: "Сотряслись палатки земли Мадиямской".

⁶ "Послание к Титу", III, 10. Перевод не совсем точен.

⁷ "Второзаконие", XIII, 5.

Глава LXV

¹ *Дидим* -- известный александрийский грамматик I в. до н.э., оставивший огромное количество трудов (по преданию -свыше 4000).

² "Второе послание к Коринфянам", XI, 19,

³ Там же, 16, 17.

⁴ "Первое послание к Коринфянам", IV, 10,

⁵ Там же, III, 18.

⁶ "Евангелие от Луки", XXIV, 25.

⁷ "Первое послание к Коринфянам", I, 25.

⁸ *Ориген* Александрийский (185--254)--один из крупнейших богословских авторитетов раннего христианства.

⁹ "Первое послание к Коринфянам", I, 18.

¹⁰ "Псалтирь", XVIII, С.

¹¹ *Марк Антоний* (83--30 до н.э.)--выдающийся римский полководец и государственный деятель. Среди ближайших соратников Юлия Цезаря Антоний отличался беспечностью и ненасытной жадой наслаждений.

¹² *Философ Сенека* был воспитателем будущего императора *Нерона* (37--68 н. э-) и в первые годы его правления руководил своим воспитанником, но позже был отстранен от государственных дел. В 65 году Нерон, обвинив философа в участии в республиканском заговоре, заставил его покончить жизнь самоубийством.

¹³ *Надеясь* подчинить своему влиянию сиракузских тиранов и создать в Сицилии идеальное государство, *Платон* трижды посетил Сиракузы (первый раз при тиране *Дионисии* Старшем, второй и третий -- при его преемнике, *Дионисии* Младшем). Все эти попытки окончились неудачей. По преданию, после ссоры с Дионисием Старшим Платон был даже продан в рабство.

¹⁴ "Первое послание к Коринфянам", I, 27.

¹⁵ Там же, 21.

¹⁶ "Первое послание к Коринфянам", I, 19, где Павел цитирует "Книгу пророка Исайн", XXIX, 14.

¹⁷ Это восклицание встречается во многих местах "Евангелий".

¹⁸ "Евангелие от Иоанна", I, 29 и 30.

¹⁹ "Числа", XII, 11.

²⁰ "Первая книга Царств", XXVI, 21.

²¹ "Вторая книга Царств", XXIV, 10.

²² "Евангелие от Луки", XXIII, 34.

²³ "Первое послание к Тимофею", I, 13.

²⁴ "Псалтирь", XXIV, 7. В русском синодальном переводе: "Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай".

Глава LXVI

¹ В ответ на защитительную речь апостола Павла римский наместник Фест сказал ему: "Безумствуешь ты, Павел. Большая ученость доводят тебя до сумасшествия" ("Деяния апостолов", XXVI, 24).

² Намек на рассказ о том, как св. Бернард, будучи погружен в размышления, выпил по рассеянности вместо вина масло.

Глава LXVII

¹ Платон, "Федр", р. 245В.

² "Первое послание к Коринфянам", II, 9, где Павел цитирует "Книгу пророка Исаяи", LXIV, 4.

Популярность: **33**, Last-modified: Tue, 20 Jun 2000 06:34:38 GMT

45477

31277

24073